

ЦАРЬ

ВЕЩЕЛ

ТЕБЯ

CoRpus

18+

РОМАН

ЛЕНА

4

10

ЭЛТАНГ

ПОВЕСИТЬ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ "НОС" И "РУССКОЙ ПРЕМИИ",

ФИНАЛИСТ ПРЕМИЙ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР" И "БОЛЬШАЯ КНИГА"

Лена Элтанг

Царь велел тебя повесить

«Corpus (ACT)»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)9-44

Элтанг Л.

Царь велел тебя повесить / Л. Элтанг — «Corpus (АСТ)»,
2018

ISBN 978-5-17-982687-3

Роман «Царь велел тебя повесить» включает в себя книгу, написанную шестью годами раньше, но полностью пересматривает и переворачивает ее сюжет. Тайна гибели старого друга, история безысходной любви и разорения фамильного дома наполняются новым смыслом, герои, прежде молчавшие, обретают голос и дают ключевые показания. Костас Кайрис — вечный странник, тартуский студент, лиссабонский наследник — попадает в тюрьму за убийство, которого он не совершал. В письмах из камеры он распутывает, казалось бы, безнадежные узлы своей жизни. Выясняется, что сила письма, писательства мощнее семейных корней, человеческих связей, непоправимых ошибок и непреодолимых обстоятельств — одним словом, судьбы. Честный и дерзкий текст, обращенный в прошлое, меняет будущее и становится дорогой к свободе.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)9-44

ISBN 978-5-17-982687-3

© Элтанг Л., 2018
© Corpus (АСТ), 2018

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	52
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Лена Элтанг

Царь велел тебя повесить

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© Л. Элтанг, текст, 2018

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО «Издательство Аст», 2018

Издательство CORPUS ®

Часть первая Другие барабаны

Глава первая

Костас

Утром я впервые в жизни побрился ножом у ручья. Давно хотел это сделать. Вода была родниковая, ледяная, но я выкупался, натянул свитер и выпил кофе из красного термоса, который сунул мне в руки хозяин кафе “Канто”, когда я сказал, что ударяюсь в бега. Встретив его недоверчивый взгляд, я добавил, что он может взять себе дверные ручки, уцелевшие при пожаре, железные полки и все, что найдет там полезного. Если поймают, накинута еще год к твоим четырем, сказал хозяин кафе, а то и два. Я пожал плечами, но его слова застряли в памяти, как синие резиновые цифры в сырной голове. В детстве я выковыривал их из желтой восковой корки и складывал под стекло, вместе с сушеными кузнечиками и прочей ерундой. Четыре плюс два равно шесть.

Я думал об этом, стоя на обочине шоссе E1, еще не просохшего от ночного дождя. К тому времени, как я выйду, на европейских купюрах будет нарисован кто-то другой, может стать, самой Европы уже не будет, и вполне вероятно, что не будет бумажных денег вообще. Голосовать пришлось недолго, в семь часов меня подобрал грузовик, направлявшийся на север, так что я сошел возле Карвалейры, когда солнце еще не достигло зенита. До испанской границы оставалось полдня пути.

Согревшись, я выложил все из карманов на траву и осмотрел свое имущество. Что у меня в сумке, я и так знал: две белые рубашки, бритвенный помазок, твидовый пиджак и фаянсовая кукольная голова. Когда за мной пришли, сестра набила сумку чем попало, хотя торопиться было некуда, полицейские спокойно ждали, когда я буду готов. В карманах обнаружился паспорт, две сотенные купюры, спички, разбитый телефон и нож, который я присвоил вчера на кухне мотеля.

В Лиссабон я больше не вернусь, а бежать лучше всего налегке. Вот сидеть – другое дело. В камере каждая вещь, карандаш или обмылок, становится артефактом, подтверждающим существование свободы. Пачка оберточной бумаги, на которой я писал в сетубальской тюрьме, была украдена, когда соседям по камере передали рассыпной табак.

За зиму я многое понял про тюремную жизнь. Все свое носи с собой. Если ты думаешь, что тебя заперли, попробуй открыть дверь. Не переставай говорить вслух, а то забудешь кто ты такой. Если ты сидишь в тюрьме, это не значит, что ты совершил преступление.

* * *

Когда они пришли за мной, все произошло как в фильме братьев Люмьер: быстро, непредсказуемо, в черно-белом мерцании. Паровоз летел мне прямо в лицо, потом брал чуть правее, обдавая горячим паром, я задыхался, наглотавшись угольной пыли, а статисты прохаживались по квартире, будто носильщики по перрону. Я ждал их уже давно, и вот они пришли.

Полицейских было четверо: трое проворно разбрелись по дому, а инспектор постучался ко мне в спальню и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Вместе с ним зашла настороженная Байша со стаканом молока.

– Константин Кайрис? Я инспектор криминальной полиции. Одевайтесь.

Разговаривать с инспектором, бесцветным, как глубоководная рыба, мне пришлось на кухне. Сначала мы долго молчали: он рылся в портфеле и прихлебывал молоко, а я сидел на подоконнике и слушал, как полицейские швыряют на пол книги и скрипят дверцами платяных шкафов. Один из них вошел в кухню и выложил на стол пакетик с травой и грубо оторванную видеокамеру. Наверное, ту, что висела на кухне, ее проще всего было найти. Инспектор нахмурился и одним глотком допил молоко.

– Садитесь к столу, Кайрис.

В столовой раздался обиженный звон. Похоже, там уронили музыкальную шкатулку, жаль, что я ее вовремя не продал. Я подвинул стул и сел возле стола, прислушиваясь к шагам над головой. Через минуту зашел сержант с плотно набитым конвертом, который я вчера приготовил для посредника.

Инспектор поставил портфель под стол, разложил бумаги и достал карандаш, движения его были плавными, но значительными, как у танцора фламенко. Потом он заглянул в конверт, присвистнул и, не пересчитывая денег, сунул его в папку, а папку положил в портфель.

– Я должен подписать акт об изъятии? У вас есть санкция прокурора?

– При каких обстоятельствах камеры оказались в вашем доме?

– Так как насчет санкции?

– У нас нет бумаги, ее выпишут только завтра. Но если вы не будете сотрудничать, то мы проведем обыск как следует: вскроем полы, разломаем мебель и пустим пух из всех подушек. Предлагаю вам сдать оружие, а также предъявить имеющиеся в доме ценности. Мы все равно вас сегодня заберем, для этого у нас есть основания.

Он говорил так нудно и размеренно, что я поверил. Ясно, что чистильщик совершил промах, и теперь у них есть подозреваемый номер один: сомнительный иностранец, у которого дом набит гаджетами для слежки.

– Я буду сотрудничать.

– У вас имеется армейский пистолет Savage M1917 с инкрустацией и наградной надписью на рукоятке?

– Был такой, но его украли. Он принадлежал хозяину дома, покойному сеньору Браге.

– Вы знаете, что им воспользовались в преступных целях?

– Знаю. Несколько недель назад. Но я не имею к этому отношения.

– То есть вам известно про убийство? Вы употребляете наркотики, Кайрис?

Я услышал тихое фырканье, обернулся и увидел свою служанку Байшу, стоящую у дверей. Уставившись на следователя, она вынимала из волос желтые бумажные бигуди и складывала в карман халата.

– Какое вам до этого дело? Я заявляю протест. Занесите это в свой протокол.

– В протокол заносятся только процессуальные действия. А также изъятые предметы, документы и ценности с точным указанием их количества, индивидуальных признаков и стоимости. Протесты сможете обсудить со следователем. Собирайтесь.

– Я могу взять компьютер и телефон?

– Компьютер возьмем мы. Вам можно взять смену белья и туалетные принадлежности. Вот здесь поставьте подпись. И вы тоже, сеньора, – он обернулся к Байше, и та неохотно подошла поближе.

Потом он сунул подписанный бланк в свой портфель, разваливающийся, будто обугленное полено, и окликнул полицейского:

– Что вы там возитесь, сержант? Выводите задержанного.

– Одну минуту, капитан. Тут устройство какое-то в кладовой и куча проводов на полу. Мне отключить провода и принести этот ящик?

– Ничего не трогайте! – Инспектор поставил портфель на пол, поднялся и направился в кладовку. Я соскользнул под стол, дотянулся до краешка папки, торчащей из портфеля, нащупал в ней конверт, вытянул деньги, примерно половину, и сунул их за пазуху. Байша внимательно смотрела в окно, на затылке у нее сидели две папилютки-лимонницы. Инспектор недовольно гудел за дверью, я услышал звук бьющегося стекла и хруст стеклянной пыли под каблуками. Похоже, они наткнулись на сервер, стоявший в кладовке за плотным строем банок из-под теткиного варенья. Банки были пустыми, последнюю мы с сестрой раскупили в две тысячи седьмом, это были маленькие зеленые абрикосы.

* * *

Если бы в тот день, когда я увидел Лиссабон впервые, кто-то сказал мне, что я буду сидеть в тюрьме недалеко от руа ду Помбал, я бы точно не поверил. Мне было четырнадцать, мы с сестрой стояли на террасе и стреляли из лука с бельевой резинкой вместо тетивы, стараясь попасть в фонтан, прямо в голову серебряного лосося, в мокрый выпуклый глаз. Агне не знала ни одного литовского слова, хотя у нее было древнее имя и волосы цвета пожухшего сена, еще светлее, чем у моего школьного друга Лютаса. Удивительное дело, вокруг меня всегда, с самого детства, роятся светловолосые люди, будто стеклянные мотыльки *Palpita vitrealis*.

Так вышло, что до приезда в Лиссабон я ни разу не видел своей сестры. И ее матери, которая так смешно писала свое имя – Зое, тоже не видел. В твоей тетке нет ни капли литовской крови, шепнула мне мать, когда мы стояли на террасе, седьмая вода на киселе, странно, что она вообще нас пригласила. Она русская с ног до головы!

Я невольно обернулся и посмотрел на тетку через стеклянную дверь. Голова у нее была маленькой и гладкой, в те времена она заплетала косы и стягивала их в узел, узел лежал низко на смуглой шее и пушился, будто кокосовый орех. Зое сидела в кресле-качалке, а муж разминал ей ступни, устроившись рядом на полу и совершенно нас не стесняясь.

Тем летом я старался не носить очков, поэтому разглядеть тетку как следует не сумел, но помню, что был взволнован. Сначала мне показалось, что ее лицо сияет дымчатым светом, будто кристалл кварца, но потом я понял, что свет проходит через витражное стекло двери. Если бы Фабиу знал, что не пройдет и шести лет, как я буду ночевать с его женой в номере отеля “Барклай”, он бы, наверное, здорово удивился. Он умер задолго до того, как это случилось, и тем самым лишился возможности отволочь меня на агору и засунуть в задницу колючую рыбину, а потом засыпать согрешившие части тела горячей золой – так в старину полагалось поступать с прелюбодеями.

Он умер в девяносто четвертом. В этом году в Сараево обстреляли рыночную площадь, в Мексике восстали индейцы, паром “Эстония” затонул, комета Шумейкера – Леви столкнулась с Юпитером, а я поступил в университет и поселился в облупленном общежитии на улице Пяльсони. В тот год я думать не думал о лиссабонской террасе, я начисто забыл о ней, и о тетке забыл, и о сестре, с которой в один из дождливых дней целовался между львиными лапами рояля. Я читал “Введение в египтологию” и ходил в гости к двум однокурсницам, снимавшим на окраине домик с печкой, потому что в общежитии было холодно и дуло изо всех окон. По дороге к девушкам я отрывал доски от чужих заборов или воровал угольные брикеты, однажды за мной погнался эстонец-хозяин, кричавший: “Куррат! Куррат!”, я бросил брикеты и побежал – просто чтобы доставить ему удовольствие.

* * *

Когда меня вывели из дома, инспектор повернул рубильник на лестничной площадке, закрыл дверь моим ключом и опустил всю связку в карман моего пальто. Руки у меня были скованы за спиной, наручники надели еще в прихожей, а один из полицейских даже придерживал сзади за плечо, как будто мне было куда бежать. Байша успела повязать мне на шею теплый шарф, и я боялся, что он развяжется и упадет. В машину меня сажали с церемониями, зачем-то пригибая голову рукой, хотя дверца фургона была довольно высокой, в человеческий рост.

Этот жест напомнил мне движение конюха на ипподроме, которое я подсмотрел, когда был там прошлой зимой с моим другом Либиенталем. Мы искали жокея, который должен был подсказать несколько верных ставок, и долго бродили в пропахших мокрыми опилками закоулках конюшен. Наконец мы вышли к манежу и увидели, как мохнатого пони гоняют по кругу вдоль проволочного забора. Пони возмущенно мотал головой, подбрасывал круп и норовил треснуть седока о забор, за что тут же получал хлыстом по кончикам ушей. Когда жокей услышал свое имя, он спешился и подвел лошадку ко входу, чтобы поздороваться с Либиенталем. Я заметил, что он пригнул голову пони рукой в перчатке и стоял так, не отнимая руки все время, пока с нами разговаривал. Поймав мой взгляд, он сказал, что делает это не со зла, а затем, чтобы лошадь знала, что до стойла еще далеко и хозяин требует покорности.

В полицейском фургоне не было окон, и я смотрел в затылок инспектора, маячивший впереди, за узким грязноватым окошком. Затылок был приплюснутым, что говорит о жадности и упрямстве, а шея была кривой, что свидетельствует о живом уме. Осталось узнать, будет ли он зверствовать на допросе, подумал я, но тут машина замедлила ход, стукнули ворота, инспектор обернулся и кивнул мне на прощанье:

– Идите, Кайрис. Дальше без меня.

Сержант дал мне знак выходить из фургона и повел вперед, пригнув мою голову рукой в перчатке, так что я увидел только площадку, засыпанную гравием, выложенную ракушечником дорожку и ступени крыльца. У самой двери я поднял голову и прочел: *полицейский департамент номер шесть*. И чуть пониже: *касада дос Барбадиньос*. Странно, что мы ехали так долго, в этом районе мне приходилось бывать у знакомого антиквара, и я ходил сюда пешком, с парой подсвечников под мышкой или граненым графином, завернутым во фланель. На крыльце сержант вдруг скривился, как будто вспомнил что-то неприятное, достал из кармана бумажный мешок, расправил и ловко надел мне на голову:

– Извини, брат. Такие здесь порядки.

Я спокойно стоял у двери, прислушиваясь к его удаляющимся шагам. Хлопнула автомобильная дверца, кто-то засмеялся, потом завелся двигатель, зашуршал гравий. Почему они повезли меня на северо-восток, разве в альфамском участке нет своего отдела убийств? Вероятно, потому что я иностранец, а здесь какой-то особый отдел для иммигрантов. Дверь открылась, меня взяли за наручники и потянули внутрь. Конспираторы хреновы, начитались про Гуантанамо, сказал я тихо и тут же получил тычок под ребра. Похоже, отсюда дорога только в аэропорт и домой, в тюрьму на улице Лукишкес, думал я, медленно продвигаясь по коридору. Конвойный придерживал меня за плечо и предупреждал: лестница, стоять, направо.

Я ожидал жестокого допроса, но меня отвели на второй этаж, стянули с головы мешок, втолкнули в камеру с бетонной скамейкой, сняли наручники и оставили одного. Даже обыскивать не стали, а могли бы неплохо пожить. Сидеть на бетоне было холодно, так что я стал ходить вдоль стены, зачем-то считая шаги; через три тысячи шестьсот шагов мне при-

несли одеяло и матрас, набитый чем-то вроде гречневой шелухи. Я вытянулся на матрасе лицом к стене, увидел перед собой слово *banana* и закрыл глаза.

Подумаешь, бетонная скамья. В позапрошлом году, когда я был во Флоренции, мне приходилось спать на антресолях шириной с половину плакатной полки. Так вышло, что я жил в дешевой квартире в районе реки Арно, где ванна стояла посреди кухни, спальни вообще не было, а на антресоли вела библиотечного вида шаткая лесенка. Я долго не мог привыкнуть и, просыпаясь, резко поднимался в постели и бился головой о дубовую перекладину потолка. Через две недели мне показалось, что на двухсотлетней балке образовалась вмятина, еле заметная, но вполне понятного происхождения. Меня это почему-то обрадовало: я подумал о тех, кто поселится здесь после меня, они будут смотреть на вмятину и усмехаться, думая о прежнем постояльце. *Засыная, они будут думать обо мне* – вот что меня тогда волновало, поверить не могу.

Зое

Шла Федора по угору, несла лапоть за оборо, оборо порвалась, кровь унялась. Когда таблетки не помогают, я ложусь в шавасану и вместо мантры читаю это громко и нараспев. Мне грустно думать, что ты застанешь дом в запустении, я знаю, что ты его любил. С тех пор как настоящие хозяева умерли, он тихо гневался и хирел, обдираемый скупщиками. Его защитные листья осыпались один за другим, и вскоре кое-где показалась кочерыжка: белые стены и ясеневые доски пола. Я не тронула гостиную и спальню Лидии, но ты не стесняйся, если будешь голодать, продавай все, что найдешь, и портреты предков, и мейсенские лампы, тут еще надолго хватит.

Сегодня приезжал антиквар, служанка собрала для него чайный сервиз от *Vista Alegre*, завернула каждую чашку в газету, полдня просидела над этой коробкой, кряхтя и ругаясь. Я для нее что-то вроде демона-разрушителя, на моей совести падение дома Брага, а она служила им триста лет и три года. Возьми ее к себе, милый, она будет за тобой присматривать, без нее дом проглотит тебя и не поперхнется. Не гони старуху, обещаешь?

Я живу теперь в кабинете Фабиу, потому что там есть питерское окно-фонарь. Я переселилась туда прошлой осенью, когда окончательно слегла. Так кочевники меняли стоянку, если в племени кто-то подхватил лихорадку, считалось, что болезнь останется в земле прежнего становища, вместе с костями и тлеющими углями.

Когда-то это была лучшая комната в доме, самая тихая, с потрескавшимся кожаным диваном и сигарным столиком, – может быть, поэтому Фабиу выбрал другое место, когда решил покончить с собой. Он повесился зимой девяносто четвертого, рано утром, перед дверью материнской спальни. Письменный стол, который он отбросил ударом ноги, мы вынесли на помойку, а разбившаяся витражная лампа, которую в доме называли *грабарчиком*, удачно склеена и стоит на своем месте.

Воспоминания как чужие векселя, прочла я в одном из романов, купленных на распродаже в разорившемся книжном на улице Элиешу. В горькие дни можешь ими рассчитываться, и пока тебе есть чем платить, пока память подкидывает тебя, словно послушный батут, – ты в силе, у тебя полный рукав козырей. Есть ли у тебя воспоминания, Косточка? Если нет, то пусть у тебя будут мои, засунутые в ребристую железную коробочку с двумя красными кнопками *on* и *off*.

Нет, тут есть еще одна кнопка: пауза. Я только что ее обнаружила. Обычно я говорю с тобой не прерываясь, пока не устану, но тут мне вдруг страшно захотелось есть, я встала, прошла на кухню, держась руками за стену, нашла там принесенный служанкой сверток и развернула коричневую бумагу. Точно в такую бумагу заворачивали горячий хлеб в тракайской пекарне: мы с твоей мамой ездили на озеро, покупали две свежие булки напротив замка

и съедали их, глядя на уток. Крошить хлеб в воду было нельзя, за этим следил с башни замковый сторож; заметив нарушителей, он с грохотом сбежал по винтовой лестнице и принимался ругаться: ах вы змеи, лягушки, или вы читать не умеете?

В служанкином свертке оказался подсохший бисквит и яблоко, я вернулась с ними в кровать и вспомнила, как мы грызли с тобой крекеры в эстонской гостинице. Вся постель была в крошках. Сначала шел мокрый снег, потом началась метель, и мы провели день в номере, попивая коньяк и слоняясь в стеганых нейлоновых одеялах, как два привидения.

Однажды, когда вас с Фабиу не было дома, – сказал ты тогда, – я зашел к тебе в спальню и забрался под твоё одеяло. Я провел там минут десять, представляя себе черт знает что. На одеяле были разбросаны вещи, приготовленные для стирки, я запомнил, как они лежали, и потом разложил в таком же порядке. В этом было больше смысла, чем во всех свиданиях с Агне под роялем, вернее под лысым персидским ковром.

– Ты встречался с моей дочерью под роялем?

– И под роялем, и во всех темных углах, где она меня заставляла. Она научила меня целоваться с открытыми глазами. Кстати, твои хваленые ковры были испорчены старой собакой и сыростью. От них воняло, как от клетки с опоссумом.

– Этого не могло быть! – воскликнула я горестно. – Я бы почуяла. Скажи, что ты врешь!

И ты сказал, что тебе стоило.

Костас

– Эти видеокамеры принадлежат вам? – следовательно вертел проводок между пальцами. Я уже знал, что его фамилия Пруэнса, лицо у него было крупное, холеное, оно показалось мне смутно знакомым, как будто я видел его раньше, но мельком, на улице. В кабинете было нетоплено, я сидел на железном стуле и дрожал от холода, а он накинул на плечи твидовое пальто.

– Я уже говорил, что нет. Это собственность Лютаса Раубы, моего друга. Он собирался снимать кино и оставил у меня часть оборудования.

– То есть вы подтверждаете, что были знакомы с Раубой, гражданином Литвы? – Он поморщился и нажал кнопку на сером диктофоне.

– Разумеется. С самого детства. Теперь скажите мне, где я нахожусь и в чем меня обвиняют?

– Вы находитесь в следственной тюрьме, задержаны по подозрению в убийстве. Адвоката вам на днях предоставит центр помощи иммигрантам. На вашем месте я бы начал сотрудничать со следствием прямо сейчас.

Некоторое время я сидел молча, придумывая, как лучше повести разговор. Начать рассказывать всю правду? Молчать, пока не придет адвокат? В какой-то момент мне показалось, что это не имеет никакого значения. Что у них уже все решено, либретто написано, дирижерская палочка летает сама по себе и мне остается только представлять себе музыку, вернее особую пустоту оркестровой ямы, где вразнобой звучат какие-то сигналы, то еле слышное бормотание, то жестяные стуки, то виолончельный плеск.

– Ну-с-с? – Пруэнса барабанил пальцами по своему гаджету, записывающему наше молчание. Точно такой же, только черный, я нашел в теткинском тайнике, когда разбирал ее бумаги. Когда я включил его, то на несколько минут перестал дышать, как будто оказался глубоко под водой с открытыми глазами.

Со дня Зоинной смерти прошло два года, но в ее доме полно тайников, он состоит из них, как вселенная из фрактальных уровней, так что я наткнулся на диктофон только весной две тысячи шестого. Обнаружив диктофон в коробке из-под бисквитов, я лег на пыльные

простыни, которые ничем не пахли, кроме всякой аптекарской дряни, и стал слушать Зоин голос, такой слабый, старательный, не тот, что был раньше, когда я мог ее видеть.

Странно звучит, я знаю, но тут вот в чем дело. Когда я мог ее видеть, то всегда немного стыдился наших голосов. Наши голоса были словно два пищика в животах у площадных кукол. Мы были одно, а наши речи – другое. За все время, что я провел с ней рядом, неважно где – в постели, за столиком в кафе, на автобусном вокзале, – я ни слова не сказал своим голосом, я то смущался, то наглел, то боялся, то пыжился, то высмеивал, то защищался, я все время был занят, понимаешь? И она тоже.

Черный диктофон, вот чего мне не хватает в этой тюрьме. Я так растерялся, когда за мной пришли на руа Ремедиош, что не взял ни одной нужной вещи, так и ушел в пальто и ботинках на босу ногу. Сидя на своей кухне напротив инспектора, я ждал, когда один из полицейских поднимется на второй этаж и крикнет оттуда: “Пришлите дактилоскописта! Я нашел пятна на стенах от мыльной воды и укуса”. Но никто не крикнул, меня довольно быстро вывели из дома и отправили в участок, входную дверь опечатали, ключ от нее лежал у меня в кармане, так что, подумав хорошенько, я понял, что *locus delicti* никого не интересует. Я понятия не имел, куда делась Додо, где скрывается вся остальная шайка и что надо говорить, чтобы мне здесь поверили.

Стратегема: обмануть императора, чтобы переплыть море. Если поверят, я сяду в тюрьму за соучастие и сокрытие улик, если не поверят – сяду за убийство. Для каждой свиньи наступает день ее святого Мартина, как сказал один испанец, побывавший в плену. Мать испанца, добрая донья Леонор, выкупила его за две тысячи дукатов. На мою мать надеяться точно не стоит.

Как бы там ни было, я решил писать обо всем, что приходит в голову, в том числе и о тебе, Ханна, хотя тебя я помню довольно смутно. Вот что я помню: длинные ноги с красноватыми коленями, протяжная речь, бублик из тонких косичек на затылке (португальцы такой бублик называют *bolo rei* и кладут в него цукаты) и пацанская привычка стучать собеседника по плечу.

Я помню, что целовал тебя в пустом коридоре общежития, потому что твоя соседка-деревенщина вечерами никуда не выходила. Может, это и к лучшему, думал я, укладываясь спать в нашей с китаистом комнате, заставленной сосновыми полками. У нас даже между кроватями стояли полки в половину моего роста, так что мы спали в овечьем загоне, сделанном из голубых томов “Путешествия на Запад” и зеленых кирпичей Плутарха. Не слишком-то много я помню, верно? Ну и ладно. Тому, кто пишет, необязательно помнить, как все на самом деле было, ведь он владеет мастихином, которым можно не только смешивать охру с белилами, но и палитру поскрести, почистить лишнее. А если заточить как следует, то и убить, пожалуй, можно.

* * *

Было время, когда моим лучшим другом был Лютас, сын жестянщика, живший в доме напротив, но не в здании с маскаронами в виде львиных голов, а в глубине двора, в деревянной пристройке. В девяносто первом он провожал меня в Лиссабон: мы сидели в нашем подъезде на подоконнике и пили горькую настойку, двадцатиградусную. В тот день он принес мне свою кожанку, шоферскую, с карманами на молниях, чтобы я не позорился за границей, а в придачу – горсть эстонских денег, которые он выменял в школе на марки. Эстонцы только что отчеканили белые однокроновые монетки, чудесно совпадающие по размеру с немецкой мелочью. Во Франкфурте у нас с мамой была пересадка на рейс португальских авиалиний, так что я потихоньку обобрал все автоматы в зале ожидания, набив карманы пачками “Мальборо” и пакетами соленого миндаля.

Я никогда не задумывался о мужской красоте, пока не увидел Лютаса, я вообще думал, что красота – это то, что бывает у взрослых женщин и у старинных вещей. Весь остальной мир я делил на то, что выглядит мерзко, и то, что можно потерпеть. Когда я увидел Лютаса в первый раз, то подумал, что это девчонка, которую подстригли под мальчика: слишком уж ловко сидели на нем джинсы, слишком чистой была кожа. И весь он был какой-то подозрительно чистый для третьеклассника. В тот же вечер мы подрались, и он оказался крепче и свирепее меня, несмотря на свою тонкую кость. Помирившись, мы совершили справедливый обмен: я дал ему рамку с четырьмя сохлыми бражниками, а он мне – гнездо славки, выложенное конским волосом.

Мы звали друг друга *бичулис*, с литовского это переводится как “приятель”, но не только: так называют друг друга пасечники, владеющие общими пчелами. *Бите* означает “пчела”, у моего двоюродного деда на хуторе их было видимо-невидимо, восемь ульев или двенадцать. Когда дед умер, его дряхлый белоголовый бичулис с соседнего хутора сразу пришел за ульями, постучал по ним палкой и сообщил, что забирает их на свою пасеку, мол, так по традиции положено.

Когда в августе девяносто третьего я вернулся из Тарту домой и сказал, что с горя поступил на исторический, Лютас даже не удивился, похоже, он не видел большой разницы между востоковедом и медиевистом. Они с Габией, его подружкой, целыми днями пропадали на городском пляже, где был ларек с чешским пивом: пиво остужали, опуская бутылки в авоське в речную воду. Иногда Лютас звал меня с собой, и я не отказывался, хотя валяться на одеяле рядом с Габией, затянутой в тесный купальник, было выше моих тогдашних сил. У меня мутилось в глазах каждый раз, когда она открывала рот, чтобы зевнуть или сунуть за щеку леденец. Теперь-то я знаю, что греческое *хаос* имеет общий корень с глаголом “разевать” – неважно что, девичий рот или пасть звериную. Самое смешное, что я не хотел спать с Габией. Ни тогда, ни потом, когда уже спал с ней. Я хотел владеть Габией, как ей владел Лютас, вот и все. Горе душило меня, прочел я у Байрона несколько лет спустя, хотя страсть еще не терзала.

В пятом классе мой друг затеял угнать антикварный соседский “виллис”, давно дразнивший нас сиденьями из потертой рыжей кожи, похожими на чемоданы из шпионского фильма. Лютас забрался внутрь и завел мотор, а я стоял на стреме и трясся, утешая себя тем, что это от ночного холода. Мы катались на трофейной машине до утра, доехали до Тракайского озера, где мотор всхлипнул в последний раз и заглох, пришлось возвращаться в город ранним автобусом, полным старушек с корзинками; в корзинках виднелась свекольная ботва и молодые шершавые огурцы.

В полдень хмурый сосед позвонил в нашу дверь, поговорил с матерью, и она закрыла меня до вечера в соседском чулане, где с потолка спускалась грязная лампочка на сорок ватт, а сидеть можно было только на венском стуле без спинки. Обыскав все как следует, я нашел на антресолях пачку бухгалтерских книг в проеденных мышами переплетах. К одному из grossбухов был привязан химический карандаш на веревочке, совсем целый.

Я сел на стул, прислонился к сырой стене, вырвал из тетради исписанный синими цифрами листок и начал сочинять рассказ о двух мальчишках, угнавших генеральскую машину, добравшихся на ней до Варшавы и гуляющих там с паненками по кофейням. Часам к восьми вечера я извел карандаш и принялся искать что-нибудь съестное, воды-то у меня было вдоволь, из каменной стены торчал покрытый ржавчиной кран с вентилем. Потянув коробку с консервами с верхней полки, я обрушил на себя целую залежь холщовых мешков, поднял тучу пыли и закашлялся.

– Это кто там шебуршит? – строго спросили за дверью. – Уж не вор ли забрался?

Я узнал голос доктора Гокаса, любовника матери, обрадовался и подал голос, надеясь, что он сходит за ключом. Но не успел я закончить фразу, как раздался глухой звук, как будто

ударили ногой по плохо надутому мячу, дверь открылась и Гокас возник на пороге, белея в сумерках своим безупречным халатом.

– Ты что здесь делаешь? В индейцев играешь?

– Меня мать закрыла. – Я сунул листки за пазуху и быстро протиснулся мимо него.

– Закрыла? Дверь-то не заперта. Я бы давно уже удрал, будь я на твоём месте.

Ну нет, думал я, сбегаю по лестнице, только не на моём месте. С доктором я бы не стал меняться местами, от него пахло разведенным спиртом и дегтем, а недавно он купил себе “трабант” и теперь проводил воскресенья, разглядывая его усталые внутренности. К тому же, будь я доктором, мне пришлось бы, чего доброго, полюбить мою мать.

* * *

Вещи обманывают нас, ибо они более реальны, чем кажутся, писал Честертон. Это точно. Настоящие вещи живут в скрытой возможности, а не в свершении, вроде пачки бенгальских огней или пакетика семян. Отбери у меня возможность погружать пальцы в клавиши и водить глазами по буквам, и я зачохну, погружусь в кипяток действительности, как те крабы, что водятся в мутной воде у портового причала возле кафе “Алмада”. Раньше их ловили прямо с веранды кафе, отрывали клешни и бросали обратно в воду. А клешни варили в чане с кипятком.

Стоит мне завидеть свою сноровистую кириллицу, черных бегущих жуков на светящемся белом поле, как у меня отрастают клешни и я оживаю, соскальзываю в воду и боком, боком ухожу на свое придуманное дно. Существоем только я и кириллица, латинские буквы недостаточно поворотливы, они цепляются за язык, будто гусиное перо за пергамент, русский же лежит у моей груди, в особенной впадине диафрагмы, к ней мужчины прижимают чужое дитя, пока мать отошла в парадное подтянуть чулок: прижимают крепко, держат неловко, но с пониманием.

В тюрьме я понял это на четвертый день, потому что на четвертый день меня вызвали к Пруэнсе во второй раз и я готов был поцеловать ему ботинок за то, чтобы мне вернули компьютер, хотя бы на пару дней.

– Вы признаете свою вину, – произнес он, и я увидел эту фразу в воздухе между нами, будто всплеск серпантина. Вопросительного знака я не увидел, следовательно было скучно: либо у него не было ко мне вопросов, либо он знал все ответы наперед. Что до меня, то я так долго ждал вызова в этот кабинет, что готов был говорить о чем угодно: о Реконкисте, о ценах на бензин, о певице Амалии Родригеш. После первого вопроса Пруэнса замолчал, налил себе чаю и принялся заполнять какие-то пробелы в моем досье. Минут через десять в кабинет вошел человек в синей форме, сел боком на стол следователя и принялся качать ногой. Потом пришли еще двое охранников, и я подумал, что народу в кабинете многовато для простого допроса.

– Вы поедете на опознание, Кайрис. У вас крепкий желудок? – Пруэнса отхлебнул чаю и улыбнулся.

Для следователя он был слишком выразителен: яркие желудевые глаза, выпуклые губы, бритое актерское лицо.

– Я уже видел ее труп. Я видел, как ее убили, на компьютерной записи, но не смог разглядеть того, кто стрелял. Я также видел, как тело прятали в мешок для мусора. Не надейтесь, что в морге я признаюсь в том, чего не делал.

– У вас скверный португальский для человека, который живет здесь почти восемь лет. Вы имели в виду *его* труп? – Пруэнса был угрожающе благодушен, и я насторожился.

– Думаю, убитый сам толком не знал, кто он такой. Скорее всего, это был парень. Я видел настоящий *saralho*, не приклеенный.

– Да он под дурачка косит, – сказал тот, второй. – То у него мужика пристрелили, то бабу!

На нем была свежая рубашка, я почувал запах стирального порошка, когда он толкнул меня на пол вместе со стулом. Я ударился головой о край стола, из носа пошла кровь, стул придавил мне правую руку, я хотел его скинуть, но тот, кто меня толкнул, поставил ногу на перекладину, не давая мне подняться. На какое-то время я перестал слышать, но потом слух вернулся – болезненным щелчком, похожим на тот, что бывает после слишком быстрой самолетной посадки.

– Значит, вы видели убитого раздетым? – услышал я голос следователя. – Ваше признание мы занесем в протокол. Мы знаем, что вы знакомы с жертвой, но не предполагали, что вас связывали отношения такого рода. Ведь связывали?

Я осторожно протянул другую руку к внутреннему карману пальто. Похоже, что очки уцелели, хорошо. Эту оправу я купил еще во времена благоденствия, когда работал в Байру-Алту: золото и сталь, немецкое качество. Вот за что я люблю португальцев – здесь даже бьют не слишком стараясь.

– Каким образом жертва оказалась в вашем доме, в чем была суть конфликта и куда вы спрятали труп? – Пруэнса присел возле меня на корточки. Вблизи его лицо показалось мне старше, все в мелких щербинках, похожих на пороховые метины, – такие же щербинки я увидел на носках его ботинок, наверное, он много ходил пешком.

– О чем мы вообще говорим? Проверьте запись в моем компьютере, там ясно видно, кто стреляет, этому человеку явно за сорок, и он ниже меня ростом!

Обувь охранников, стоявших возле меня в кружок, была поновее и попроще. Я разглядывал их ботинки, лежа на полу и думая об Орсоне Уэллсе. Когда снимали “Гражданина Кейна”, режиссер велел пробить яму в цементном полу студии и заставил оператора туда забраться, чтобы люди в решающей сцене выглядели настоящими исполинами. Я думал о том, приходилось ли Орсону Уэллсу лежать на полу в кабинете следователя. Еще я думал о паучке, который висел на паутинке, которую он начал плести от крышки стола, на котором лежала папка с моим делом, в котором было написано про убийство, которого я не совершал.

– Ты признал при свидетелях, что тебе известно об убийстве. – Тот, второй, ткнул меня носком ботинка в бок. – У нас пистолет с твоими отпечатками и твой компьютер, в котором нет никаких записей. В твоём доме нашли наркоту. Полежи и подумай, у тебя есть пять минут.

Паучок, сидевший в засаде, поймал муху и принялся ловко ее вертеть, опутывая липкой нитью; муха была большая, янтарная, но и охотник был не промах. Вот тебе и ответ, Костас, думал я, закрывая глаза и слушая, как полицейские обсуждают ночную грозу и состав “Спортинга”. Я знал, что жаловаться некому, более того, я не мог даже разозлиться как следует: это был первый допрос, я давно не видел людей и страшно по ним соскучился. Да не настроит тебя никакой слух против тех, кому ты доверяешь, говорил мой любимый философ, но он не сказал, что делать, если ты не доверяешь никому.

Зое

Одиночество – целебная вещь, почти как экстракт болиголова. Моя мать вдоволь нахлебалась и того и другого, когда отец уехал из Питера и нашел себе литовскую жену, оставив нас в комнате, полученной от его мрачной конторы. Нас оттуда довольно быстро выгнали, и мы жили в маминой мастерской, с огромным окном, заклеенным крест-накрест липкой лентой. Зимой мама рисовала в смешных пуховых варежках, из которых пальцы торчали наполовину. Летом мы вынимали грязное стекло и мыли его вдвоем, стоя по обе стороны, а потом звали соседа, чтобы вставить эту махину обратно. Окно мастерской выходило на болото, где

жила серая цапля. В те времена Токсово было глухой деревней, но там жили художники, ходили друг к другу через лес, покупали на станции печенье и молоко. В Португалии я ни разу не видела серой цапли, зато видела маленькую зеленую квакву. Ты когда-нибудь видел зеленую квакву? Кваква сидит на корнях мангрового дерева и ждет рыбу, просто сидит и ждет. Я так всю жизнь прожила. Я просто сидела на корнях дерева. И это дерево был Фабиу.

Поверишь ли, он был большим раскидистым деревом, полным странностей и всяческой кривизны. Я прожила с ним столько лет, но не знала даже, откуда в доме берутся деньги. Однажды я попросила у него пару сотен, чтобы заплатить настройщику, а у него не оказалось наличных. *Подожди немного*, сказал Фабиу, надел белую рубашку и вышел из дому. Через час он вернулся и высыпал на стол целую гору медных монет. Мне пришлось сгрести их в хозяйственную сумку и целый день менять на банкноты в мелких лавочках!

Сегодня я сумела подняться с постели и долго сидела на подоконнике, глядя на реку, на крыши доков, на огни грузовых и рыбацких суденышек, сгрудившихся в малом порту. Я думала о том, что у моей матери нашлись бы слова для этих красок, а у меня их нет. Моя мать сказала бы: вот Тернеровы облака, или сказала бы: вот лиловые волны в небесах просыпали золотую золу. У нее всегда были полные карманы слов, ее трудно было заставить врасплох. На самом деле я никогда не хотела рисовать, я просто хотела быть похожа на нее.

Завтра Ореховый Спас, и ты должен сходить в церковь и помолиться за тех, кто умер в этот день и во все другие дни. В детстве я никогда не ходила в церковь: возле нашего дома были два храма, в одном располагался музей атеизма, а в другом – картофелехранилище. Потом я долго жила среди католиков и притворялась католичкой. А теперь я даже из дому выйти не могу. Жаль, что ты так и не приехал. Отвел бы меня на крышу, посадил бы в шезлонг и налил бы коньяку прямо в чайную чашку, как мы делали в Тарту. Потом слазил бы на соседнюю крышу за лимоном, помнишь это лимонное дерево? – и мы бы вместе глядели окрест себя, и слышали бы стук невидимых колес, как будто едем из Петербурга в Москву.

Ты думаешь, я обижена на тебя за то, что повел себя как бездарный друг, как негодный любовник, как равнодушный мальчишка? Нет, я не обижена. Раньше мне нужно было кого-то любить, я просто по стенам ходила, будто геккон на охоте, а теперь мне все равно. Это как с фотографией: сначала чувствуешь себя глупо, оказавшись в чужом городе без камеры, а спустя десять лет даже не вспомнишь о ней, собирая дорожную сумку.

Смешно думать, что я разговариваю с тобой, а на самом деле – неизвестно с кем, будто по сломанному телефону. Ты ведь эту запись можешь и не найти, в таком огромном доме маленький черный диктофон словно иголка в ворохе кружева. Что ж, я умею разговаривать без собеседника. Я ведь рассказывала тебе, как однажды мы застряли с дочерью в Сагреше, в отеле, и я говорила по телефону с фантомом?

В ту осень я поссорилась с Фабиу, взяла ребенка и уехала на юг, понадеявшись на свою подругу. Денег у нас не было, хватило только на гостиницу, подруги дома не оказалось, и мы пили воду из-под крана, от которой ломило зубы, и грызли яблоки, украденные из китайской вазы в холле. Потом я вышла на балкон, чтобы выкурить сигарету, и услышала, что наши пожилые соседи говорят по-английски, они накрывали на своей террасе стол для ужина и звенели бокалами. Я стояла там и думала, что на моем месте сделала бы сметливая Лиза, моя мать. Потом я вернулась в комнату, надела красное платье, встала у балконных дверей, сняла телефонную трубку и стала громко говорить по-английски с воображаемым собеседником. Я смеялась так ласково и всхлипывала так натурально, что чуть сама не поверила, что на том конце провода кто-то есть. Не прошло и пяти минут, как соседи постучали в нашу дверь со стороны коридора: раз такое дело, сказали они, ваш багаж пропал, ваши деньги выпали из сумки на пляже, а ваш муж опоздал на лондонский самолет, не хотите ли присоединиться к нашему ужину?

Костас

Мой друг Лютас был зимним человеком – довольно бледный от природы, в ноябре он становился перламутровым, будто изнанка морской раковины. Зима была ему к лицу, зимой он был ловким, разговорчивым и полным холодной небрежной силы. Летом я ни разу не видел его загорелым, даже не представляю, зачем он часами валялся на этом грязном пляже, где песок был похож на остывшую золу. Сказать по правде, летом я видел его редко – они с матерью уезжали на хутор в Каралишкес. Там у Лютаса была другая жизнь, я знал о ней только по его рассказам, и она представлялась мне полной испытаний: мне чудились рваные раны от кастета, кровоподтеки от драки ремнями, яростный футбол в высокой траве и лиловые следы на шее, которые носили напоказ, не прикрывая.

На моем хуторе жизнь была совершенно иной: колодезная вода, от которой ломило зубы, довоенные журналы на чердаке, царапины от терновых кустов. В худшем случае – твердое рельефное пятно от слепня. Я был выше Лютаса на голову, читал на трех языках, носил золотые часы и гордился крепкими икрами велосипедиста, но Габия почему-то хотела его, низкорослого, пасмурного, с волосами цвета кукурузной шелухи и маленьким, темным, подгорелым ртом. Да что Габия, я сам готов был пойти за ним куда угодно, *ползти на окровавленных коленях от Острой Браны до польской границы* — так говорила моя мать, и я знал, что она права.

Узнав о его приезде в Лиссабон, я так засуетился, что сам себя перестал узнавать. Лютас предупредил меня, как настоящий немец, за две недели, и все эти дни я приводил дом в порядок, даже велел служанке вычистить ковры, и она два дня на меня дулась. Сам не знаю, чего я так разволновался. Может, мне не терпелось показать, что времена аквариумных рыбок прошли, и что я – *langsam aber sicher!* – направляюсь на свои собственные острова?

Как бы там ни было, старался я напрасно. Лютас вошел в мой дом, будто в гостиницу: первым делом залез под душ, явился в столовую с полотенцем на бедрах, забрался в кресло и потребовал выпивку и кофе. Первый вечер был каким-то неловким, бренди быстро кончился, лампа перегорела, мы грызли орехи и черствый хлеб, Лютас так и сидел в кресле с ногами, смутное белое пятно в сгустившихся сумерках. От него несло неврастений, будто сыростью из подвала. Когда он заговорил о вильнюсских знакомых, я посмотрел на него с опаской, мне показалось, сейчас он откроет рот и скажет:

– А вот, кстати, Габия... Какого черта ты спал с ней, пока меня не было?

Произнеси он эту фразу, и все поменяется непоправимо, думал я. От прежней дружбы и так остались одни лохмотья, а теперь они вспыхнут, будто скипидаром облитые. Но он не произнес.

Вильнюс распухает во мне, хотя место ему на дне затянувшейся раны, в капле сукровицы. С каждым днем его становится все больше и больше, он отравляет мои сны, разъедает их беззвучными, яркими, увеличенными, будто в диаскопе, картинками. Флюгер с уснувшими воробьями, похожий на детскую карусель, канавы, полные покорных лягушек, водяные лилии, волчья ягода, черные от сажи сталактиты на горячих подвальных трубах. Хуже того, я вспоминаю то, чего вообще никогда не видел!

Прошлой ночью я видел во сне лейтенанта, гордо входящего в наш дом со смуглой сияющей щукой в руках, метра в полтора рыба, даже не знал, что такие бывают. Этой щукой лейтенант торжествующе бил об стол, а бабушка Йоле смеялась, подбоченясь за его спиной, чешуя залепила ей лицо, но я видел ее молодые острые зубы, похожие на щучьи, и вдруг почувствовал голос крови, хотя смешно говорить об этом, глядя на холодную рыбу слизь. Моя бабка была не простая рыбка, а железная, остро заточенная, это я с детства знал, а мать пошла в другую ветвь, в арестантскую роту, как говорила Йоле, в сибирских колодни-

ков. Проснувшись, я сел на своей скамье, спустил ноги на ледяной пол и внезапно, больно, невыносимо остро – как будто колючим плавником ткнули в горло – понял, что я в тюрьме.

* * *

Агне приехала без телеграммы, без звонка, просто однажды ранним утром открыла дверь своим ключом и вошла. Проснувшись от гулко-го буханья кухонной двери, я спрыгнул с кровати и бегом спустился на первый этаж, где столкнулся с сестрой в полосатом африканском платье до полу. В одной руке у нее была бутылочка с молоком, а вторую она подала мне.

– Прости, что не предупредила. Я заняла свою прежнюю комнату. Подвернулся дешевый билет, и мы с сыном решили тебя навестить. У нас тут небольшая катастрофа, но мы все уладим, если ты дашь нам кусок клеенки.

С каким еще сыном? Открывая ящики шкафов, я пытался подсчитать в уме, сколько лет ребенку, но что-то не сходилось. Агне прислонилась к стене и наблюдала за мной, сложив руки на груди, на предплечье у нее была татуировка, что-то вроде коптского креста, синего, будто его порошком натерли. Когда я спросил, как зовут моего племянника, сестра заявила, что сказать пока не может, в тех краях, где она обитает, это не принято.

– Возьми хоть Заратуштру, – сказала она, лениво растягивая слова, – ему тоже дали имя-оберег, когда он родился, на авестийском это означает “староверблюдый”. Зато злые духи не обращали на него внимания, и он вырос совершенно здоровым.

Потом мы завтракали на крыше, подстелив соломенные циновки, я открыл бутылку вина, от которой Агне спокойно отмахнулась: мастер не разрешает ей пить вино, оно порождает ненужный жар в крови. Ее лицо потемнело за шесть лет, проведенных в пустыне, но это был не загар, Агбаджа покрыла ее слоем рыжеватой пыли. Я не был ей рад. Да чего там, я смотреть на нее не мог. Она была похожа на свою мать, но каким-то грубым, неприятным образом, как будто одну из них лепила китайская богиня, а вторую – гончар Хнум с бараньей головой.

– Сам видишь, мне приходилось нелегко, – сказала сестра, намазывая булку вареньем, повторяя знакомый Зоин жест, заставивший меня вздрогнуть: локоть правой руки чуть оттопырен, лопатка лежит на открытой ладони левой. Мне приходилось нелегко, повторила она, и я понял, что эта фраза обозначает начало и конец истории.

Когда тетка написала мне за год до своей смерти, что дочь нашла себе новых друзей и уехала с ними в Тимбукту или еще куда-то, я даже не сразу понял, о чем идет речь. Более того, я подумал, что слово “секта”, брошенное вскользь, означало, что в этих людях было что-то неприятно настойчивое, какой-то мистический восторг, заставивший тетку насторожиться, или – что среди них был длинноволосый духовидец, от которого у Агне голова пошла кругом.

Я с трудом узнал свою сестру, когда мы встретились в день похорон, зимой две тысячи четвертого. Агне выглядела оживленной, все утро она ходила по комнатам, переставляла вазы, проводила пальцем по рамам картин и, казалось, не могла дождаться, когда люди, пришедшие выпить за упокой Зоиной души, уберутся восвояси. Она поила маленького нотариуса чаем и горделиво оглядывалась, поправляя бархатную, расшитую бисером ленту в волосах. Эту ленту я раньше видел в спальне ее матери. Выслушав завещание, она охнула, поднялась со стула так резко, что тот отлетел к стене, у которой сидели две родственницы в черных шалих, и вышла вон, гулко хлопнув дверью. Кто знает, как бы я сам вел себя на ее месте, услышав, что остался без крыши над головой?

* * *

Если меня не посадят, а просто вышлют из страны, то я стану жить на хуторе, в город возвращаться не буду. Хутор в Друскениках мне отписал двоюродный дед, потому что больше отписывать было некому: мне только что исполнилось восемь, и я был последний мужчина в роду. Это было в тот год, когда на округу напала каштановая чума. Дед пытался с ней бороться, поливая стволы гашеной известью, но каштаны, служившие дому живой оградой с восточной стороны, начисто облетели еще в середине июля и теперь стояли голышом, поднимая к небу черные подсыхающие ветки. Дорога, ведущая к хутору, была усыпана раздавленными плодами, которые успели покрыться шипастой коркой, но ослабели, упали и лежали в траве, будто зеленые корабли марсиан.

Лицо деда я помню смутно, зато помню камышовые дорожки и широкую, как пастбище, кровать. Над изголовьем кровати висел глиняный Христос, раны от гвоздей сочились черничной кровью. Мы с матерью ночевали в этой кровати, а дед уходил спать на широкую лежанку – лежанка густо пахла собакой, потому что раньше на ней спал дедов сенбернар, он умер задолго до моего рождения. Деда похоронили в восемьдесят пятом, в начале июля, это я помню, потому что мне тогда в первый раз купили костюм, слишком теплый и коловшийся изнанкой. Я ходил в нем по деревне, гордился и потел, помню даже запах синего шевиота, а вот похороны начисто забыл.

Помню, что обитатели хутора казались мне бестолковыми небожителями, в их владении было все, чего я тогда хотел от жизни, все запретные радости, а они просто жили, и всё: не купались в пруду, не ели дичков, не катались на лошадях, не лазили за малиной к пану Визгирде. Двоюродный дед управлялся с хозяйством сам, гостям разрешал только грядки полоть, так что, поработав на огороде, моя мать и бабушка Йоле садились на ступеньки летней кухни и праздно сидели там до вечера. Они были похожи как две кипарисовые маски театра но: пунцовый рот и настороженные прорези для зрачков. Мать однажды сказала мне, что в то лето я забрался на кровать, встал на высокие подушки, оперся рукой о стену и принялся кормить глиняное распятие шоколадом, который мне купили в ларьке возле кладбища. Кормил и приговаривал: Перкун-отец имел девять сыновей. Бабушка гневно зашипела в дверях, я обернулся, оступился на верхней подушке и полетел вниз с горестным воплем. Глиняный бог уцелел, сказала мать, а тебя то ли в угол поставили, то ли выпороли. Но я не помню ни наказания, ни бога, ни шоколада.

Это письмо будет длинным, Ханна, так что читай его понемногу, ведь мне нужно уместить сюда целую связку не слишком-то связанных на первый взгляд вещей, причем некоторые из них не имеют к моей жизни никакого отношения – и это хорошо, хотя и опасно. Чужую жизнь можно употреблять только в гомеопатических дозах, словно змеиный яд, наперстянку или белену. Это сказал однажды мой друг Лилиенталь. Про него я расскажу тебе особо, он заслуживает просторной главы, скажу только, что это единственный человек, которого я когда-либо носил на спине.

Лютас

Первый немецкий год я провел на помойке. В киношколу меня не взяли, хотя мой фильм понравился комиссии. Ну и черт с ними, правила там все равно были жесткими: первый год никакой стипендии и никакого жилья. Так что я взял свою дискету и отправился зарабатывать деньги. Для начала устроился мусорщиком, работа была ночная, в пять утра мы возвращались в барак и ложились спать, а после обеда отправлялись на поиски еды и выпивки.

В первый день я еле отмылся под горячим душем, отдираю воображаемую грязь жесткой мочалкой. В бараке мусорщиков было чисто и тепло, а вот одежда всегда воняла, хотя нам выдавали голубые брезентовые комбинезоны, шапки и сапоги. Я просто поверить не мог, что сам стал Габдулой-караимом, которого мы во дворе забрасывали яблочными огрызками. Габдула приезжал на своей таратайке раз в месяц, чтобы очистить выгребные ямы, и ему собирали по рублю; борода у него была грязная, пальцы скрюченные, а в кармане лежала жестяная дудка, в которую он по прибытии громко дудел. Году в девяностом он перестал приезжать, умер, наверное, хотя нам он казался вечным, будто облупленная краснокирпичная бастея в конце нашей улицы.

Осенью я познакомился с тирольцем по имени Тор (до сих пор не знаю, имя это было или кличка), и он предложил мне поработать в эскорте. Без фанатизма, время от времени.

– С таким телом грех торчать на мусорке, парень, через год превратишься в клошара, – сказал он, – и потом уж точно будет поздно. Это ведь замкнутый круг, пропиваешь все, что зарабатываешь. А тебе кино надо снимать. И жилье приличное для адреса.

Он был прав, паршивый адрес в Берлине – это все равно что вонючее пальто, ты всюду таскаешь его за собой и смешишь людей. Деньги у меня были отложены, и я мог снять комнату в каком-нибудь Кройцберге, но на жизнь уже не хватило бы. Время шло, пора было забирать к себе Габию, а что я мог ей предложить? Так что я подумал и согласился.

Первое время я жил у него в квартире, а договор был такой: с каждого клиента ему шло десять процентов, а с каждой клиентки – двадцать пять плюс моя доля за жилье. Меня это устраивало, потому что он занимался грязной работой: сидел на телефоне, мурлыкал на своем баварском диалекте, договаривался о встречах, так что мне оставалось только натянуть костюм и отправляться на вызов. Костюм я купил у Тора, а рубашки у турка, который жил под нами и, похоже, воровал в больших магазинах.

Это была фишка Тора – одеваться подчеркнуто прилично, никакой дешевки, хотя все дизайнерские тряпки висели на разболтанном железном рейле, потому что даже шкафа в квартире не было. Я быстро перенял его мелкие практические умения, обзавелся отличным бельем, прочел несколько книг по теме и, если бы не позорный немецкий, имел бы успех почище, чем у моего учителя. Единственное, что меня бесило, – приходилось пить много химии, иначе эти старые бабы доконали бы меня за неделю.

* * *

В девяносто третьем Кайрис уговаривал меня ехать с ним в Тарту, но я собирался в мореходное, даже документы подделал, чтобы взяли, уменьшил себе возраст на два года. В Клайпедской мореходке меня заставили пройти медосмотр и сразу отправили домой, нашли куриную слепоту. Где написано, что капитан корабля должен видеть в темноте? Взять хотя бы адмирала Нельсона, тот и вовсе был кривой.

– Какой смысл тратить на образование четверть жизни, – сказал я Костасу, вернувшись домой. – В прежние времена я мог бы стать юнгой в десять лет, а к двадцати уже увидеть весь свет, даже Патагонию.

Патагония была моим помешательством, мальчишеским раем. Я мог часами рассказывать про вонючую смолу, выступающую на ветках, про хвощи, тукко-тукко и казуаров. Я знал “Путешествие на «Бигле»” наизусть, на кухонной стене у меня висела карта, где я отмечал флажками пути воображаемых кораблей. Когда мать начала на карту коситься, я снял ее и принес Костасу, аккуратно свернутую в рулон, чтобы он спрятал ее в сарае, в тайнике под стальной стружкой, – я все важные вещи у него прятал с тех пор, как понял, что мать роется в моих вещах. В моем немецком доме почти нет важных вещей, это вообще не дом, а зал ожидания, пропахший дымом, паровозной сажей и одеколоном. Я живу здесь сквозь зубы,

ненавидя германское кино, германскую литературу, германскую оперу, германскую походку и статью.

Вчера я снимал два эпизода в настоящей тюрьме – это устроил знакомый охранник за несколько сотен: мне нужна была настоящая камера, не декорация, а каменный мешок, место, где мужчины рисуют на стене раздвинутые женские ноги и любуются ими сутки напролет. Место, где женщины не может быть по определению. Я привел туда черного статиста и свою малолетнюю звезду Труды, которая значится в моей записной книжке как Груды. Записную книжку я веду на кириллице, это проще, чем шифровать имена и адреса, не зря же я зубрил в школе ненавистный алфавит. Потом я забрал Труды домой и дал поработать без камеры, заодно узнал, что на самом деле ей девятнадцать, просто в третьем классе она перестала расти. Некоторые части выросли, а некоторые нет. К утру блондинка нализалась в хлам и начисто испортила мне скатерть и ковер. Ковер я купил на Бернауэр-штрассе, на блошином рынке, на нем вышита голова председателя Мао, и ей ничего не сделается, даже если свежей кровью залить. А вот скатерть придется выбросить, это последняя вильнюсская вещь, уцелевшая за шесть лет, я купил ее у старой пани Скайсте, работавшей раньше в костеле, вернее, обменял на электрический чайник. Старуха жила по соседству и принесла скатерть к нам в галерею, надеясь продать, но у меня не оказалось денег, одна мелочь, а показывать скатерть хозяину я не хотел, он бы сразу в нее вцепился.

– Откуда это у вас? – спросил я, когда она встряхнула куском пожелтевшего льна, сплошь покрытого золотыми прожилками. – Это же настоящий алтарный покров!

– Это мои волосы, – сухо сказала пани Скайсте. – Мать остригла мне косы сразу после войны, смешала со льном, вышила эту скатерть и подарила нашему кунигасу. Денег на золотую нитку у нее не было. Кунигас давно умер, его сын нашел скатерть в церковном сундуке и сказал, что я – настоящая хозяйка этой тряпки и могу теперь забрать ее себе.

– Подождете с деньгами до вечера? – Мне страшно хотелось заполучить эту скатерть, я сразу задумал подарить ее Габии, она такое любила. Все, что красиво сшито, вышито, выточено, радовало ее, будто она сама это сделала. Когда в школе я начал за ней бегать, то украл для нее дубового страсготерпца с чужого двора, перебравшись через ограду. Тяжелый был, собака, я потом еще нес его на себе километров восемь.

– У меня чайник недавно сгорел, – задумчиво сказала пани Скайсте. – Старый был чайник. Надо новый купить. Этого мне хватит, если пану не жалко.

– А вам не жалко вещи памятной? – спросил я, скрывая свою радость.

– Меня не спросили, когда косы остригли. – Она поджала губы. – У моей матери, видно, были для этого причины.

У моей матери тоже на все были причины, ей одной ведомые. Ее гнев был молчаливым, но я боялся его, как дети боятся знакомых предметов, преобразующихся в темноте. Такая маленькая, юркая, губы с самого утра окрашены, блузка кружевная, а страшно с ней бывало, как будто на осиное гнездо наткнулся. Другое дело наша соседка Юдита, звучная, породистая, как староанглийская бойцовая курица. Когда мы с Костасом делали уроки у них на кухне, она подходила сзади и сильными пальцами отгибала мне плечи назад, говорила, что я скручиваюсь перечным стручком. Я нарочно скручивался, чтобы она еще раз подошла. Смешно вспоминать, что эта женщина заставляла меня завидовать Костасу, хотя и не стоило ему завидовать – ведь он был полукровкой, а значит, никем, и только моя дружба делала его человеком.

Костас

Как трудно быть Додо! В то утро я сам не заметил, как произнес это вслух, и Додо засмеялась. Совершенное утро с женщиной уже описано Максом Фришем – это завтрак с

несуществующей графией, присутствие которой имитирует слуга, полагая, что хозяин слеп и поверит покашливанию и постукиванию ложкой по тарелке с овсянкой.

– Можно я возьму твой халат? – Додо встала, потянулась и прошла в ванную. – Эй, тут халата нет! И воды горячей тоже!

Я укрылся пледом с головой, пытаюсь вспомнить хоть несколько минут из прошедшей ночи. Почему мы спали в столовой, на продавленном узком диване? Что я вчера пил, настойку на коре анчара? И с какой стати Додо пошла ко мне домой? Похоже, кто-то над ней подшутил, представив меня щедрым антикваром или просто богатым лопухом. Сейчас мы все выясним, я выверну карманы, и девушка исчезнет, думал я, прислушиваясь к шуму льющейся воды. А жаль – в ней, кажется, есть то, что редко встречается в запальчивых местных красавицах. Успокоительная небрежность, которая нравится пассажирам трансатлантических перелетов: да, я иду по узкому проходу, толкаю перед собой тележку с выпивкой и точно знаю, что эта железная коробка не может так долго висеть над океаном, она бы давно упала, если бы все это было на самом деле.

– Воду отключили за неуплату. Халат в стирке, он у меня один. Думаю, ты редко просыпаешься в подобных домах.

– Дом у тебя прекрасный, не гневи бога, – сказала Додо, выглядывая из ванной с моей зубной щеткой во рту. – Как раз такой мне и нужен. И камеры отличные, я еще вчера заметила!

– Тебе такой и нужен? Ты что же, снимаешь кино?

– Нет, это другого рода дело. – Она набрала в рот воды и сплюнула. – Для него требуется хороший друг с хорошим старым домом. И хорошей техникой для скрытой съемки.

– Всего-навсего?

– Не смейся. – Она выплыла из ванной. – Тебе понравится, когда ты узнаешь, сколько мы заработаем. Ничего, что я надела твою рубашку?

Однажды я проснулся в семь утра и увидел девушку в мужской рубашке, сидящую верхом на моем друге Лютасе. Это было на дедовом хуторе, я уговорил Лютаса ехать вместе, потому что не был там сто лет и не хотел ночевать один. Габия решила поехать с нами, и я был этому рад. Печку топить мы поленились, рубильник не нашли, просидели весь вечер при свечах, кутаясь в одеяла, а потом свалились где ни попадя. Утром, услышав слабое поскрипывание, я с трудом приподнял голову и посмотрел в сторону окна. Мой друг лежал в высоких деревенских подушках, закинув руки за прутья кровати, а девушка в джинсовой рубашке склонилась над его лицом так низко, что ее рыжие спутанные волосы укрыли их обоих.

Мартовское утро было стремительным: в соседнем дворе уже слышался грохот огородной тачки и голос пана Визгирды. Вино душило меня, накануне мы нашли здоровенную бутылку красного, оплетенную болгарской соломкой, и прикончили ее перед тем, как пойти спать. Железные пружины запели снова, я заворочался, закашлялся, постучал костяшками пальцев по стене, но меня никто не услышал. Сливанное вино подступало к горлу и плескалось у самых ноздрей. Я слез с лежанки, прополз на четвереньках вдоль стены, отвернув лицо, с трудом распрямился в сенях и плеснул в глаза холодной воды из кадки. Потом я выпил бутылку молока пополам с мерзлой крошкой, накинул куртку и пошел к реке. Проходя мимо окна, я услышал голос моего друга и смех Габии, похожий на треск озерного льда под ногами.

Добравшись до берега, я сел в соседскую лодку, открутил проволоку от столба и оттолкнулся веслом от причала. Я греб в утреннем клочковатом, как овечье одеяло, тумане километров десять, а потом заснул на веслах, страшно замерз, открыл глаза и увидел, что меня унесло вниз по течению до самых Бебрушес. Возвращаться пришлось вдоль берега, на середине реки течение было слишком сильным, так что, когда я вернулся, привязал лодку и пошел к дому, солнце уже стояло в зените. Руки у меня были стерты до крови, вернувшись

в дом, я вымыл их в кадке, вытерся хозяйским полотенцем, но в комнату заходить не стал, с меня было довольно.

Я погрыз на кухне вчерашнего хлеба, взял свою сумку, пошел на станцию и по дороге осознал наконец, что хозяин хутора умер. Умер полгода назад и похоронен рядом с женой, на окраине деревни, под старой, изъеденной зайцами яблоней. Я понял, что сам стал хозяином хутора.

* * *

– Мне говорили, что он повесился, бывший хозяин, это правда? – Додо стояла возле оружейного шкафа, разглядывая золотые таблички, отливающие розовым на утреннем солнце. – А почему ты шкаф запираешь?

– Правда. Шкаф заперт, потому что ключ потерялся. – Я вошел в гостиную и устроился на диване, закинув ноги на стол, покрытый толстым слоем пыли. – А кто тебе об этом говорил?

– Соня Матиссен, кто же еще. Сказала, что ты живешь в доме повешенного, прямо как в картах Таро. Представляешь, она взяла с меня деньги за то, чтобы нас познакомить!

– И дорого взяла?

Эту Соню Матиссен мне приходилось встречать и раньше, она хозяйка галереи в Шиаде. Густо напудренная, в жемчугах на жилистой шее, она похожа на всех меценатов, что слоняются по мастерским. Мой друг Лиlientаль говорил, что пытался продать ей пару картин, привел к себе в дом и горько об этом пожалел. Старость похожа на порванную велосипедную цепь, сказал он тогда, и дело не в том, что она наступает в самый неподходящий момент, а в том, что, удалив сломанное звено, ты все еще рискуешь не доехать до дома.

– Сколько надо, столько и взяла. – Додо вынула шпильку из волос и воткнула ее в замок оружейного шкафа. Я заметил, что волосы у нее собраны в тяжелый светлый узел и он низко лежит на затылке. У меня заныло под ложечкой, будто от голода.

– Какой, однако, странный выбор. – Она осторожно крутила шпилькой в замке. – Лезть в петлю, будто обманутая прачка, когда у тебя вся стена увешана пистолетами. Хочу открыть и потрогать вот этот дуствольный дерринджер. Кажется, из такого убили Авраама Линкольна.

– Оставь замок в покое!

– Подумаешь, я бы аккуратно открыла. Я, между прочим, умею обращаться с оружием. И оно меня возбуждает.

– А какое больше, старинное или новое?

– Наградное! – Она подошла к дивану, сбросила рубашку и взобралась на меня. Если верить чаньским наставникам, жизненная сила находится в животе, и у Додо ее было предостаточно. В ней была та смугло-розовая телесная сытость, которую я видел только однажды: у девицы с иллюстрации к Апулею. У той, что сидит с лампой над спящим юношей, а потом роняет масляные капли ему на живот. В детстве я читал этот том, завернув его в обложку от бабкиного требника, чтобы мать не нашла.

– Сделай лучше кофе. – Я похлопал ее по спине. – Пора собираться. У меня в одиннадцать встреча с антикваром.

Додо послушно сползла и зашлепала босыми ногами по лестнице, направляясь в кухню. Я смотрел ей вслед: высоченная, однако, девка, настоящий *Santísima Trinidad* из крепкого красного дерева. Моя рубашка прикрывала ровно половину ее кормы, зато все сто тридцать пушек были на виду. Выбираясь из диванной прогалины, я представил эту спину среди китайских подушек в студии Лиlientаля. Когда придет время избавиться от Додо, отведу

ее к нему и больше ее не увижу. Испытанный трюк, не хуже древнего японского способа избавляться от стариков.

Мой друг Ли в этом деле безупречен. Женщины вечно хотят его трахнуть или усыновить, а он никогда не отказывается. Я думаю, ему за сорок, и он мог бы выглядеть на тридцать, если бы не бычий, тяжелый взгляд: черные зрачки расширены, вокруг них коралловые веточки лопнувших сосудов, а дальше белая потрескавшаяся яичная скорлупа.

Ли вечно нужен предмет для страданий, как персонажу Уэллса нужен был чемодан, набитый камнями, – чтобы не взлететь, как воздушный шарик. Время от времени он нарочно влюбляется в малолеток. По мне, так они щиплют язык, как дешевое белое из пакета. Двадцатилетние еще хуже, в них полно мезги и плотоядного равнодушия. С тридцатилетними легче, зато они кисловаты и отдают пробкой. Вот сорокалетние – это дело. Они напоминают тяжелое, смолистое вино в аркадном кожаном бурдюке: недаром его разбавляли горячей водой те, кто понимал в этом толк. Однажды у меня была женщина сорока лет, скрытная, как коростель, редкая, как белобрюхая цапля, но все, что я сумел с ней сделать, это поцеловать ее выпуклый, скрученный улиткой пупок.

* * *

На допрос мне приходится идти с бумажным мешком на голове. Теперь я знаю, как чувствуют себя слепые, пробирающиеся по лесу. За пару недель до ареста я купил у букиниста расхристанный томик Метерлинка, всего-то за пятерку, и до самого утра читал про лес, в котором идет снег и цветут асфодели. Слепые там погибли все, в этом лесу.

Сегодня ветреный день, и оттого шум города странно приближен. Раньше, когда я представлял себе одиночную камеру, одним из несомненных ее свойств была тишина, а вторым – полутьма. А здесь нет ни того ни другого и, собственно, нет самого одиночества. Я слышу голоса рабочих на соседней улице, скрежет тормозов на перекрестке, собачий лай, размеренный гул Святой Клары и резкий гудок парохода, покидающего гавань.

Жизнь заметно изменилась с тех пор, как я могу писать тебе, Хани. До этого я просто сидел на железном стуле и смотрел в стену, сложенную как йеменский дом, почти без цемента, камень к камню. Время выело в стене нишу, похожую на михраб, показывающий, в каком направлении Мекка. Над михрабом нарисовано нечто, похожее на перезрелую сливу, и написано: *buraco*, что означает *дыра*. А чуть повыше нарисован банан.

Ты, наверное, здорово удивилась, когда получила известие от португальской полиции? Я сам удивился, когда они заговорили про жену, я и забыл, что твое имя значится в бумагах эмиграционного департамента. Полагаю, что ты живешь одна или просто потеряла паспорт со штампом тартуской мэрии. Как бы там ни было, я рад, что мы нашли, хотя и сказал Пруэнсе, что мы давно уже *separados*, расстались то есть. Это для того, чтобы они не приставали к тебе с оплатой адвокатских услуг.

Утомившись моими мольбами, следователь распорядился, чтобы мне отдали компьютер, который к тому времени был взломан и выпотрошен каким-то полицейским умником. Экран показал мне безмятежную поляну Windows и пустые папки с документами. Вместе с парой вендеровских фильмов и почтовой перепиской исчез и файл, который я надеялся обнаружить. *Merde!* В нем была не только запись стрельбы в спальне и кадры с чистильщиком, но и адрес коттеджа в Капарике, в котором я провел ту январскую ночь, когда пристрелили датчанку.

Вечером я попробовал подключиться к случайно мелькнувшему Wi-Fi, но тюремные стены отразили его, как резиновая стенка для сквоша – теннисный мячик. Будь у меня доступ к сети, я мог бы провести в одиночке всю зиму, не испытывая ни скуки, ни беспокойства. Я мог бы переписываться с тобой каждый день, да что там, я завел бы себе блог, как тот бар-

селонский парень, которого посадили в психушку, и каждый день получал бы комментарии, наполняющие воздух радостным электричеством.

* * *

Тетку хоронили в январе, в крещенский сочельник, и с утра шел дождь. На кладбище я не пошел, отсиделся в кантине возле крематория, где хозяйка была такой же пожеванной и тусклой, как цветы, что продают у кладбищенских ворот по второму разу. Не помню, сколько я выпил там, но помню запах хозяйкиного платья. Персидская сирень. Так пахнет старость, сказал я себе, хотя хозяйке на вид было не больше тридцати пяти. Если уж на то пошло, она была не старше тетки, которая умерла молодой и лежала теперь в crematório под взглядами не слишком огорченных ее смертью людей.

Вот в древних Микенах людей хоронили по всем правилам: рядом клали кинжал, между ног – наконечник стрелы, в изголовье ставили кубок, а на живот могли положить и зеркало. Допивая последнюю рюмку, я думал о том, что тело тетки уже бросили в печь и сожгли, люди разошлись по домам, а мать поехала на руа Ремедиош встречать нотариуса с завещанием. Удивительно, что в наши убогие времена кто-то еще пишет завещания. Еще удивительнее, что раньше это называли душевной грамотой, а то и духовной. Душа ведь неграмотна по определению.

Тетка звала меня Косточкой. Матери это не нравилось, довольно того, говорила она, что его отец был не пойми кто, с виду честная шляхта, а с изнанки побрадский бродяга. Довольно того, что у нас не семья, а клубок с воткнутой в сердцевину русской спицей, говорила она, ни к чему ребенку прозвище, у него есть достойное имя, записанное на золоченой ленточке из костела святой Анны.

Я попытался представить, как Зое лежит там, под казенной простынкой, так же тихо, как лежала рядом со мной на тартуской кровати, когда я думал, что она спит, и разглядывал ее сколько хотел. Я отяжелел от ночных часов, проведенных с ней, будто пчела, насосавшаяся цветочного сока, клейкая пыльца облепила мое тело, и если бы тетка открыла глаза и откинула простыню, я бы только зевнул и отвернулся. Ладно, я вру, соврал. Я держал голову на весу над ее плечом, чтобы она не чувствовала тяжести, над ее коленями, согнутыми под простыней, я видел кусок сизых обоев, будто зимнее небо над снежными пиками Кордильеры-Бетики. Через семь лет я увидел эти пики из окна самолета, вспомнил тетнины колени и почувствовал, как снежный гребень обвалился в мое горло и не давал продохнуть: теперь я думаю, что впервые испытал приступ угрызений совести. Помню, как сосед-португалец постучал меня по плечу, чтобы я отодвинулся, и стал жадно смотреть вниз, как будто пытался разглядеть лыжников на склоне Муласена.

– Onde a terra se acaba e o mar começa, – нараспев произнес он, с трудом отрываясь от окна.

– No entiendo. – Я удрученно помотал головой.

– Здесь кончается земля и начинается море, – повторил он и добавил: Камозш.

Тетка не любила Камозэнса, она вообще не читала португальцев, объясняя это тем, что *língua portuguesa* застревает у нее в подъязычии и цепляется за зубы. Бесстыдная ленивая отговорка! Мою рукопись она сунула в ящик стола и забыла там под грудой счетов и журналов. Ей совсем не хотелось ни читать, ни писать, а я бы свихнулся здесь без того и другого. Похоже, этим тюрьма и отличается от смертельной болезни.

Спроси меня теперь, почему я не приехал к ней раньше – к живой, писавшей мне немногословные открытки и однажды приславшей фетровое бычье ухо с золотым позументом. Ни один из ответов, придуманных мной в том самолете за сорок минут, оставшихся до посадки в Лиссабоне, не похож на настоящий. Но тебе я скажу, Ханна. Я боялся увидеть

лысую золотушную старуху на месте смуглой женщины с крыжовенными глазами. Я так хотел ее в юности, что готов был на все, на любые ужимки и прыжки, чтобы утолить свой болезненный голод, и теперь, утолив его с кем попало, я винил в этом ее, а кого же мне было винить? Поверишь ли, я винил ее больше, чем свою мать, а уж мать-то я винил практически во всем!

– Зое сделала новый testament, – сказала мать, расставаясь со мной у ворот crematório, – за несколько дней до смерти. Надеюсь, ты приедешь хотя бы туда и послушаешь нотариуса.

Выходя из кантины, я думал о том, какую вещь положил бы рядом с теткой, будь у нее всамделишная, просторная гробница, заставленная кувшинами с оливковым маслом. Может, украденную у нее тавромахию?

Каково ей смотреть на себя теперь и видеть бенгальский огонь в печи, белую остывшую золу и еще – похоронный кубок с дурацким шпилем, который я сначала положу в шляпную коробку, а потом уберу с глаз подальше: под шестидесятый градус долготы, пятьдесят девятый градус широты, на место ровное, отложистое, чрезвычайных круч и глубоких рвов не имущее, под знак небесный Урса Майор.

Зое

Я вижу летних мальчиков паденье:
Они оставят землю без плодов
И золотую почву заморозят.

Всю ночь читала Дилана Томаса, вот кого я хочу встретить на небесах, его и свою мать Лизу. И тебя, когда ты станешь зимним мальчиком, почернееешь и упадешь на дно заснеженного сада. А пока у тебя спелая кожура и горькие семечки, и я за тебя рада, правда, правда. Разгрызай дареный мандарин! За этим я оставляю тебе дом, затем, чтобы ты не тратил время на подсобки и меблированные комнаты. Чтобы у тебя было кого любить, раз уж меня не будет. Потому что другую женщину ты любить уже не сможешь. А меня скоро не будет. Никому не давай ключей от дома, слышишь, никому!

Выйдя замуж, я не сразу попала в этот дом, ведь он принадлежал матери Фабиу, нас приглашали только на воскресные обеды, где я страдала от духоты, портвейна, который нужно было пить перед едой, тихого страшного голоса своей свекрови, жирного мяса и специй – одним словом, от всего вообще.

В тот год мы снимали комнату на крошечной вилле в Белене, под самую крышу забитой газетами, тряпками и коробками из-под обуви. Свободной от мусора оставалась только гостиная, где хозяйка по имени Цецилия проводила свои дни, восседавая в продавленном кресле, вырезая картинки из журналов, в ожидании часа, когда ее сын-кондитер вернется с работы. Фабиу пропадал на работе целыми днями, и мы с дочерью сидели в комнате без окон, заполненной надсадным ревом грузовиков. Хозяйка виллы была надменной, как оперная дива, ее сын казался хрупким услужливым птицеловом; эта пара была такой книжной, такой узнаваемой, что я поначалу прониклась к ним симпатией, но чувство это угасло уже через несколько дней. Защелка в ванной комнате была сломана, и несколько раз хозяйка являлась туда во время наших совместных купаний – Фабиу любил полежать в горячей воде, пока я мыла голову под краном и завивала волосы.

В первый раз Цецилия немного сконфузилась и принялась извиняться, но позже заходила с отрешенным видом, объясняя сквозь зубы, что ей нужна расческа или крем для лица. Стучаться, как предлагал ей Фабиу, хозяйка считала ничемными церемониями, я хорошо

помню ее померанцевый рот, когда она произносила это: *sé-gé-mo-nié*. Однажды утром я обнаружила молодого кондитера в гостиной листаящим мой альбом с фотографиями; то, что ему нравилось, он откладывал в отдельную стопку, выдирая снимки вместе с папиросной бумагой.

– Вот эти, детские, просто чудо, – сказал он приветливо. – Я бы на вашем месте отдал их маме для работы, у нее дивно выходят коллажи со школьными друзьями. Она всем нашим жильцам такие делала, они были в восторге.

Я молча взяла альбом у него из рук, собрала разбросанные по дивану фотографии и понесла к себе, вслед мне раздался привычный смешок: сразу видно, что недавно с востока. Гости, приходившие к хозяйскому сыну, без церемоний открывали наше вино и поедали наш сыр, хранившийся в единственном холодильнике. В ответ на мои замечания Цецилия поднимала бровь и говорила что-нибудь вроде: “Неужели мы недостаточно вас любим? Возьмите и вы наш сыр”.

Зимой я купила маленький холодильник для пикников и стала складывать туда наши покупки, на шкаф денег не хватило, так что одежду и книги мы сложили в коробки, прежде заполненные подшивками *Trabalhos em Barbante* и рваной бумагой из-под рождественских подарков. Бумагу муж переложил в мешок и вынес на угол, к мусорным контейнерам. Тем же вечером Цецилия явилась к нам в комнату и, заглянув в коробки, увидела мои чулки и кофточки, лежавшие поверх книжных стопок.

– А где же мои вещи? – спросила она ласково, и я поняла, что сегодня наш последний день в этом доме. Как ни странно, мы продержались еще пару месяцев, читая по вечерам объявления в городской газете: все, что предлагали в Белене, было непомерно дорогим, а в город нам ехать не хотелось.

В тот вечер, когда хозяйка обнаружила пропажу газет, она заставила Фабиу пойти с ней к желтым контейнерам и там раскапывать завалы в поисках утерянного мусора. Возвратить его на место мы отказались наотрез, и Цецилия, негодуя всхлипывая, поволокла мешок к себе в спальню. Оставшиеся недели мы жили под ее беличьим взглядом, безымянный сын продолжал водить гостей, пробки выворачивались в десять вечера, по ночам под нашей дверью слышалось нарочитое шарканье, а из кухни внезапно пропала вся утварь. Наконец, обнаружив однажды утром в умывальнике мертвую птицу, я поняла, что нужно немедленно уезжать, и мы уехали.

Костас

– Так нечестно. – Додо встала в дверях, сложив руки на груди. – Ты сказал, что встретишься с антикваром и вернешься, а сам пропал на целый день. У тебя даже еды никакой нет, кроме яиц!

– Зачем ты меня ждала? Я же сказал, ключ можно оставить в кафе на углу. – Я поймал себя на том, что рад ее видеть. Похоже, я слишком долго прожил в этом доме один.

– Я не просто так ждала. Нам нужно кое-что обсудить. – Она вернулась на кухню, там зашипело газовое пламя и треснула под ножом яичная скорлупа.

– Тебе нужны деньги? – Я прикинул, сколько у меня осталось в ящике стола.

Сегодняшний поход был неудачным: антиквар вернул мне две серебряные миски, провалявшиеся в лавке с прошлой осени, заявив, что на них и не смотрит никто. Хотя это настоящие *Mappin and Webb*.

– Принимаешь меня за шлюху? – донеслось из кухни. – Я же говорила, мне нужна услуга иного рода, можно сказать дружеская. Тебе она ничего не будет стоить. А денег я сама могу дать, если что.

– Говори, чего просишь.

– Ты должен развести меня с мужем, – сказала она тихо. – Это будет несложно. И я готова за это заплатить. Твой дом прекрасно подходит, в нем даже камеры есть! Ты не против, если я положу помидоры?

Не будь я таким злым после встречи с антикваром, засмеялся бы в голос. Она еще и замужем. И я нужен ей для развода. Вернее, ей нужны камеры, оставленные моим обиженным дружкой-режиссером. Бред какой-то, пыльный викторианский роман с адюльтером и церковным судом.

Я лежал на диване, слушал стук кухонного ножа и думал о том, как много чужих людей на свете. Пока их не видишь, проходя по городу, направляясь в те дома, где тебя ждут, пока их тени спокойно проходят сквозь твои, пока ты не сядешь в тюрьму или не сляжешь с чумой, они существуют условно, как деньги, или времена года, или отражение весла в воде. Иное дело, когда тебя *не спрашивают*, а просто тычут лицом в человека, и ты должен растянуть глаза пальцами, и увидеть его поперек своей воли, и осознать с отвращением, что он-то как раз настоящий, а чужой – это ты.

Хуже всех приходится писателю: его книжное тело щупают все кому не лень, листают купленную у букиниста книжку, нюхают казеиновый клей и смеются в голос, на другом краю земли, в адирондаке каком-нибудь. Хорошо таким, как я: они могут писать жене или, скажем, кондитеру из соседней лавки, никто не осмелится трепать их развязным образом за ухо или взять и ссыпать буквицы с листа (как смородину с куста). Так что, Ханна, терпи, ничего не поделаешь, есть только две женщины, с которыми я могу говорить, и одна из них уже испепелилась, выгорела дотла.

Из кухни доносилось пение стюардессы и шипение масла на сковороде. Почему эта девушка провела здесь весь день одна? Чего она ждет?

В чужих людей можно всматриваться пристально, а можно пропускать их сквозь себя – так в рассказе Брэдли марсиане проходят сквозь жителей земли. Зое говорила мне, что с тех пор, как ее принудил к любви парень по имени Д., с которым она два года просидела за одной партой, она перестала разглядывать людей. У нас всего-то было три серьезных разговора, и я помню их, как даты крестовых походов или шесть битв Столетней войны. О том парне мы говорили не в Тарту, а три года спустя, когда она приезжала на обследование в вильнюсскую клинику. У нас это слишком дорого, написала она моей матери, устрой мне хотя бы неделю по знакомству, попроси своего любовника. И мать попросила. Я пришел к тетке в палату без цветов, с корзиной яблок, купленных у ворот больницы. Не знаю, зачем она взялась рассказывать мне этот двадцатилетней давности хоррор, но уйти я не мог, пришлось сидеть на окне и смотреть вниз, на слоняющихся по осеннему парку больных, закутанных в байковые халаты.

– В тот год я попала в беду, – сказала тетка, – пришла к вам домой, надеясь на помощь, и встретила там Юдиту, державшую на руках зарезанного кудрявого мальчишку. Это был ты. Она застыла в дверях и уставилась на меня, прикусив губу, как будто видела в первый раз.

Ну да, я знаю этот взгляд. Она смотрит тебе в середину лба, потому что ей за тебя неловко. Черт возьми, я восемь лет не видел лица своей матери. Последний раз я видел ее в день Зоиных похорон. Помню, как она сверлила взглядом маленького нотариуса, важно сидевшего с бумагами в руках и вращавшего сливовыми глазами. Завещание состояло из одной фразы: Косточка получает семейный дом, Агне – все, что внутри. Возле слова “Косточка” рукой нотариуса было приписано мое настоящее имя и адрес.

Когда завещание прочли, я не задавал никаких вопросов, хотя они звенели у меня в голове, будто москиты перед дождем, мне показалось, что будут читать еще, и я сидел не шевелясь, но мэтр вытер лицо платком и стал укладывать бумаги в портфель. Родственники, сидевшие вдоль стены, тихо переговаривались на своем змеином шелестящем языке. Нотариус щелкнул замком и спросил, нет ли вопросов по сути прочитанного. Дубовый стол, за

которым он сидел, был покрыт бархатной скатертью, в которой я узнал занавеску из кабинета, второпях содранную старушками из рода Брага.

Мать поерзала, вздохнула и попросила повторить то место, где говорилось о доме. Нотариус снова открыл портфель, достал листок гербовой бумаги и терпеливо повторил последние строчки, потом сказал то же самое по-английски, расщепляя слова со сладким треском, будто гранатовые ломтики. Мать внимательно выслушала, кивнула, медленно обернулась и посмотрела мне в лицо. Как будто видела меня в первый раз.

* * *

Усилие шатунов, тяжелый выдох пара, усыпительное постукивание по стыкам — я люблю старые поезда, хотя ненавижу слабый чай и сажу в умывальнике. То же и с Лилиенталем: несмотря ни на что, я люблю этого пижона, позабывшего родную речь, стоящего в дверях Лиссабона, как тигр под воротами даосского храма.

Я встретил его в одном дешевом клубе фаду, где всегда обедал, если было туго с деньгами, — клуб прятался в шиадском переулке, старый хозяин был за повара и готовил как умел. После полудня на дощатую сцену выходила певица, завернутая в черную пашмину, и заводила *Elle tu l'aimes*. Еще там были витражные окна, напоминавшие собор святой Анны, солнце попадало в зал только через желтые стекла, а зеленые хранили прохладу. Однажды зимой я пришел туда вечером, потому что оказался неподалеку, и удивился — в клубе было полно народу, барная стойка раздвинулась, и за ней обнаружилась печь, где на вертеле крутился здоровенный окорок. Подавальщик принес мне счет вместе с рюмкой жинжиньи, по утрам такого не бывало. У меня болело горло, и я выпил ее залпом. Такой же поднос с рюмкой и счетом он принес парню, сидевшему возле окна, тот отодвинул угощение и произнес, ни к кому не обращаясь:

— И как теперь встать, блядь? Вот как теперь встать?

— Перебрал немного? — спросил я, услышав русскую речь.

— Поможешь до дома дойти? — Парень повернулся ко мне вместе со стулом. — Я живу рядом, напротив военного музея. Можешь звать меня Лилиенталь.

Его длинные припухшие глаза мокро блестели, а губы были покрыты мелкими трещинками. Я подумал было, что такие глаза бывают у кокаинистов, но тут Лилиенталь чихнул несколько раз и достал платок, платок был свежий, хорошо выглаженный. Я давно не видел людей, которые гладят носовые платки, и подумал, что пора бы завести себе дюжину. Потом он стал подниматься со стула, и я увидел его ноги, вялые, будто картофельные стебли, а потом и костыли, прислоненные к стене возле столика.

Через два года костыли пришлось поменять на cadeira. Я помню этот день — мы сидели у Лилиенталья на балконе и ждали посыльного из фирмы, обсуждая цвет коляски, ее цену и мощность двигателя, как если бы речь шла о новой модели для гонок. К тому времени я пристрастился к этому балкону и разговорам с Лилиенталем, как царь нишадхов к игре в кости.

Мы редко бывали вдвоем, чаще — в толпе, на вечеринках у него в квартире, пропахшей канифолью и чем-то неуловимым, похожим на сырые грибы в овраге. Иногда он и сам заявлялся ко мне — с какой-нибудь девчушкой, вцепившейся в ручку cadeira de rodas, будто в спасательный круг. Я так и не смог понять, как попадают в его сети эти смешливые существа, которых Ли приручает с завидной легкостью. Они приходят бог знает откуда и остаются, готовят пири-пири, стирают полотенца и запрягают коней, покуда не утомят хозяина и он не превратит их в тополя, а их слезы в янтарь.

Еще я не мог понять, откуда у него берутся деньги. Единственная картина, которую он продал на моей памяти, висела в китайской лавке, откуда ему присылали суп, — на нее

пошло доброе ведро свинцовых белил. Что за мрачная равнина, сказал я, когда увидел ее на мольберте, и Лилиенталь послушно написал на обороте холста: Мрачная равнина, 2007 г.

* * *

Оказалось, что в моей жизни было меньше людей, чем я думал. Всю жизнь я жил, сознавая себя частью толпы, но теперь, когда пришлось выкликать прохожих по именам, их оказалось не так много, и писать приходится о мелочах, которые странным образом удержались в памяти.

Сегодня, например, я вспомнил тот день, когда получил фаянсовую куклу в огромном конверте, заполненном стружкой. Я знал эту куклу в лицо: в спальне, где я провел без малого полгода, она сидела на полке, свесив голые розовые ноги, и звали ее Арман Марсель. Веснушки были выписаны кисточкой, а губы так славно вылеплены, что их хотелось потрогать. Записки в конверте не оказалось.

Все куклы, сделанные Габией, были похожи, как актеры бродячей труппы, разорвавшие старый занавес на отрезы для плащей. Арман Марсель был красноволосым существом неопределенного пола. Несколько красных прядей принадлежали младшей сестре Габии, с которой куклу лепили много лет назад, — я помню, как она вертелась на своем стуле, посылая мне умоляющие взгляды, а потом вопила, когда сестра занесла над ней ножницы.

Когда утром я получил извещение и пошел на почту, я думал, что посылка от матери, и удивлялся: последний раз она делала это, когда я был в школьном лагере летом восемьдесят девятого. И что вообще можно прислать из моей холодной страны — антоновку, сушеные грибы, банку моченой брусники? Подарками я не избалован, знаешь ли. Единственным, кто думал о подарках всерьез, был мой отец, которого я никогда не видел. От него приходили правильные вещи: теннисные ракетки, восковые мелки и даже энциклопедия в семи томах, правда на польском языке. Однажды он прислал мне галеон *San Felipe*, нарисованный на картоне, нужно было вырезать корабельные части и склеить, чтобы собрать объемную модель, но я не смог, запутался в парусах и всяких бушпритах, да и бросил.

Зачем Габия послала мне куклу? Женщины делают уйму необъяснимых вещей, смешных и страшных одновременно, полагаю, что когда они их делают, то толком даже не знают, чего хотят: рассмешить или напугать. Ведьмы, пожелавшие убить Кухулина, проткнули его собаку рябиновыми прутьями — это страшно или смешно?

Письмо, которое Фабиу написал перед тем, как затянуть петлю на шее, осталось нераспечатанным, тетка просто не стала его читать и засунула в книгу. За девять лет Зое не нашла времени прочитать записку самоубийцы — это страшно или смешно? Или никакой записки вообще не было?

А, вот еще вспомнил про подарки! Бабушка Йоле была прижимиста и всегда заворачивала подарки сама, так что пакетик в самодельной обертке я всегда узнавал и распечатывал последним. В нем наверняка лежало что-нибудь странное, попавшееся бабушке под руку в ее комнате. Однажды я обнаружил там грубошерстные армейские носки, дырочка на пятке была заштопана лет сорок тому назад. На бабушку никто не обижался, она могла выкинуть и не такое. Я сам видел, как в кафе на проспекте она сгребла со столика оставленную кем-то мелочь: смахнула в ладонь и пошла себе дальше довольная.

Женщины бывают на удивление жестокими в своих выдумках о себе самих, такого и злейший враг не придумает. Жестокость — вообще занятная штука, это что-то вроде божественного штрих-кода, по ней видно цену и силу человека, но видно только тому, кто умеет читать код. Вот с талантом, пожалуй, посложнее: мне представляется прожектор, вроде того, что бывает в тюремном дворе или в ночном клубе, выхватывающий случайного человека острым слепящим лучом из темноты. Некоторых сколько угодно высвечивай, они остаются

темными сгущениями, равнодушно бредущими в сумерках, но есть такие, что сразу вспыхивают, запрокидывают голову и долго вертятся волчком под надрывную флейту и барабаны.

Зое

Я люблю Лиссабон. Раннее утро в пустом городе, воскресенье. Белые дома на набережной просвечивают зернышками на утреннем солнце, холмы засыпаны горячей золой, а река еще держит в себе темноту. Слышно, как звякают щеколды в Альфаме, хлопает на ветру балконное белье, стучат жестяные поддоны рыбного рынка. Я была здесь несчастна, мерзла, закидывала таблетки горстями в сухое горло. Город был моим единственным другом, других друзей у меня не было. Дружба, детка, похожа на владение пчелами.

Ты обзавелся ульем, весело смотришь на него из окна, слышишь ровный гул пчелиного электричества и думаешь, что у вас отношения: ты считаешь их совершенными, дивными существами, купаешь им вошину в деревне, в безмедный год подкармливаешь по нужде сахарком, на зиму замазываешь щели глиной. Ты знаешь, что их раздражает твоя борода, запах вина и недостаточная плавность движений, но они терпят, милые, милые. Однажды ты захочешь узнать их поближе, пососать пергу, потрогать мамку, увидеть медовое непостижимое дно. С этого дня не надейся на прежние нежные правила. Заведи себе сетку из черного тюля, купи железный дымарь, употреби все свое хладнокровие и хорошенько – хорошенько! – закрывай лицо.

Со страстью все гораздо проще, как бы ни сгущались твои обстоятельства. Страсть так же легко отличить от мастерства, как медный кубок от золотого – надо попробовать на вкус и тот и другой. Про кубки это Аристотель сказал, а про страсть я знаю сама. Всегда все пробуй на вкус, Косточка. Не забывай, что ты летнее дитя, кузнечик с ломкими ногами, родившийся на границе двух эпох, у тебя все карты на руках, и тебе повезло, ты успеешь умереть вовремя. Вы – последнее поколение, знающее, что такое табу, и верящее в амулеты. Золотые, зеленые, злые.

Те, кто придут за вами, будут жить в обществе, где люди не учатся, потому что знание перестало быть частью ума, а дети выбирают между жизнью мальчика и жизнью девочки, а если не могут, то становятся и тем и другим. В каком-то смысле я рада, что не увижу этого дивного мира. Он будет забавным, наверное, но мне было бы скучно без университетских кампусов и войны полов.

Сегодня я смогла встать с кровати, обрадовалась и вышла на крышу, завернувшись в одеяло. В Лиссабоне настоящая зима, у меня даже щеки замерзли. Глядя вниз, в переулок, где под снегом поблекли все цвета, кроме цвета кирпичной пыли, я стала вспоминать сон, который увидела под утро.

В этом сне я была в заснеженном саду, давно заброшенном: старые яблони в лишайнике, смородина в ржавчине, крыжовник в мучнистой росе. Я сидела на скамейке, сделанной из двух оструганных досок, и смотрела телевизор, стоявший на пне. В телевизоре тоже шел снег, черно-белый, мерцающий, я ужасно мерзла, но не могла оторваться от экрана. Полагаю, это был фильм про смерть.

Знаешь, я никогда не хотела звать тебя Костасом, а тем более – Константинасом, ну какой из тебя автор кантаты для хора или надменный улан, ты маленькая абрикосовая косточка, полная синильной кислоты. Но спорить с твоей матерью было бесполезно, она вообще говорила мало, была склонна к невразумительным восклицаниям и жестам, заменяющим слова. Зато она неплохо стреляла, это я еще с детства помню. Юдита заходила в тир по дороге в школу, покупала на рубль горстку пулек и всаживала их одну за одной в бегущие по нитке мишени. Владелец тира успевал только выдавать ей призовые монпансье в круглых жестяных коробках, похожих на упаковку гуталина. Подозреваю, что стрелять ее

научил твой покойный дед Иван, владелец сыромятной портупеи, – это ладно, а вот куда она девала монпансье?

Костас

Служанка говорила мне, что Зое варила варенье целыми днями. Она начала в ноябре, месяца за три до смерти, и закупорила последнюю банку в то утро, когда в последний раз смогла дойти до кухни. Потом она лежала несколько недель не вставая, а потом умерла. Я-то знаю, почему она это делала. Варенье напоминало ей питерское лето, живую изгородь из можжевельника, дощатую дачную веранду с заусенцами и сладких ос, плавающих в сиропе. Пожалуй, я бы сам стал делать нечто похожее, если бы знал, что скоро умру.

– Я с самого утра возле сеньоры вертелась, – сказала мне служанка. – Да еще ягоды с рынка таскать приходилось. А сеньора все варит и варит!

Это было в день теткиных похорон, служанка поехала с нами на Cemitério dos Olivais выбирать нишу в колумбарии, а потом накрыла стол и устроилась со стаканом портвейна в углу гостиной. Она была уверена, что я оставлю ее в доме, хотя мы ни о чем таком не говорили.

– Если ягод не купишь, с ней вовсе сладу не было, вся извертится, а то еще по дому начнет ходить среди ночи, ронять что ни попадя. Я все ждала, что банки у нее кончатся, а они прямо как грибы росли!

Я знал, где росли эти стеклянные грибы. Я сам их видел в винном погребе упакованными в картонные коробки – по две дюжины в каждой. Я забрался туда в первый же день, как только приехал в Лиссабон и принялся обследовать дом: тетка разрешила мне открывать любые двери, кроме комнаты старой сеньоры, и я дал себе волю.

В те времена – в начале девяностых – дом еще жил полной жизнью. Длинные ореховые столы светились от пчелиного воска, от зеленщика в жестяном ведре приносили вишню для варенья, в шкафах с бельем лежала сухая цедра, в кухне пахло лавровым листом. Одним словом, йейтсовский кабан без щетины еще не явился во двор, чтобы рыть землю носом.

Посреди двора днем и ночью шумел фонтан в виде стоящего на хвосте лосося, выкрашенного серебряной краской. Фонтан по утрам чистили граблями, но к вечеру в нем было полно листьев и мелкой кудрявой чешуи. От одной стены двора до другой были натянуты веревочные струны, по одним ползли плети розовой вечно осыпавшейся глицинии, а на других сушилось белье. По вечерам соседи выносили к воротам складные стулья и разговаривали, пока не стемнеет. Я не помню их лиц, помню только картонную коробку с вином, стоявшую прямо на земле. Мне было четырнадцать лет, и люди меня не слишком интересовали.

Когда я приехал сюда в первый раз, то бросил сумку в столовой и сразу побежал по лестнице наверх: в таком старом доме должна быть мансарда, думал я, такая лестница обязательно ведет под самую крышу. Я только что прочел стендалевскую “Ванину Ванини” и ясно представлял себе потайные дверцы, железные ключи и раненого карбонария, которого прячут на чердаке. Комната, до которой я добрался, была кособокой и темной, зато из круглого окна лилась струя золотистой пыли, прямо с потолка. В толще света толпились пылинки, внизу они были рыжими от соснового пола, а сверху – темными от покрытого сажей окна. Я вошел в эту колонну света, доставая затылком до капители, и закрыл глаза. Крыша была совсем рядом, я слышал, как ходят по ней портовые чайки, и чуял запах разогретой черепицы.

– Здесь ты и будешь жить, – сказала тетка, стоя в дверях и глядя на меня без улыбки, – надеюсь, ты не станешь носиться как оглашенный. Агне сейчас придет с твоей постелью и пледом. Полагаю, вы подружитесь.

Мы подружились, но сестра была всего лишь девчонкой, а вот дом был безупречен, я сразу влюбился в него, во все его странности, видения и звуки: от потрескивания в стенах столовой до ночной капли в винном погребе. Еще мне нравилось смотреть, как тетка в своем зеленом хлопковом платье босиком расхаживает по дому, в котором недавно стала полной хозяйкой. Она шлепала пятками по пробковому полу, хлопала дверьми и возникала то там, то здесь, оставляя после себя запах чисто вымытых волос и детского мыла. Ей было тридцать два, на четыре года меньше, чем мне теперь.

* * *

– А кто такой Джо Гиллис? – спросила Додо с невинным видом. – Один твой друг сказал, что ты классический *он*. И что ты получил дом за то, что полюбил пожилую вдову. Сколько это чудище может стоить со всей обстановкой? Продай его, и уедем в Альгарве, поживем в свое удовольствие. Только сначала помоги мне в моем деле!

Все утро мы провели в постели, опутанные влажными простынями, как троянский жрец и его сыновья – морскими змеями. В любви стюардесса была молчалива, зато в перерывах она не закрывала рта, расхваливая мне свою затею. Ее смуглые руки летали в воздухе, глаза сияли, голос пенился. Я уже не раз пожалел о том, что не снял эти чертовы камеры сразу после отъезда Лютаса. И о том, что не соврал, – мог ведь сказать, что они не работают.

– Да не стану я тебе помогать. Девчушка придет на свидание, взмокшая от волнения, ее будут вертеть, как мельничное колесо, а я должен подглядывать на манер портного из Ковентри.

– Милый, она не девчушка, а платный эскорт. Она датчанка или шведка, это все, что я знаю. Рабочая лошадь, вот она кто. И тебе не надо подглядывать, просто нажми кнопку, компьютер сам все запишет.

– Но зачем нажимать кнопку? В кладовке стоит сервер, давай настроим систему на запись, а утром зайдем за готовым файлом.

– А вдруг не запишется? Я не могу рисковать, второго такого шанса не будет. Поверь, мне очень нужно, чтобы это сделал ты, а не сервер. Я ведь сплю с тобой, а не с сервером.

– Тебе просто свидетель нужен, так и скажи. Записи в суде все равно будет недостаточно, тем более что она незаконная. И вообще, вся эта история со слежкой какая-то мутная.

– У приличных денег всегда мутная история. Я ведь упоминала о приличных деньгах? Пять тысяч, когда все будет готово.

Как она, однако, хлопочет. Может статься, дело не в разводе, а в ревности? Где-то я читал про купеческих сыновей, которых заставили стрелять в подвешенный на дереве труп отца, чтобы выяснить, кто из них истинный наследник. Сдается мне, что мстить за измену имеет не больше смысла. Что с того, что ты продырявишь мертвое тело своей любви, в нем уже ни лимфы, ни крови, одна тоскливая гальваника.

– Ладно, подумаю, – сказал я, вставая и направляясь в ванную. – Скажи мне, ты раньше с кем-то проделывала такие штуки?

– Как мило, что тебя волнует мое прошлое. Не бойся, это всего лишь маленький веселый фильм. Поезжай в Капарiku, в мой летний коттедж, возьми компьютер и спокойно все запиши. *E um e dois e três!*

– На тот берег я точно не поеду, много чести. Ты бы меня еще в Порту отправила. Посижу на площади, в кафе с интернетом.

– Надо во всем следовать плану, – поучительно сказала она. – У меня все продумано, от первой минуты до последней. Всем уже заплачено. Ты переночуешь в Капарике со вторника на среду. Заодно подышишь морским воздухом.

Что меня с первого дня восхищало в Додо, так это умение мгновенно преображаться, выбравшись из кровати. Стоит ей встать и поглядеть в зеркало, как все ее расточительное, сочное, как персидское яблоко, тело собирается в жесткую конструкцию и становится худым и неузнаваемым.

– Сказал же, не поеду. Какая тебе разница, откуда ведется запись?

Додо пожала плечами, молча спустилась вниз, надела голубое пальто и швырнула свои ключи на комод в прихожей. Вечером я положил их в пасть каменной химере возле парадного входа, захочет вернуться – найдет. А бегать за ней бесполезно, Додо из тех женщин, что наглеют от избытка внимания.

Ключи там и раньше лежали, в водосточной химере, – для посыльного из пиццерии, для Лилиенталя, еще для пары человек, а потом я встретил эту женщину в кафе “Регент” и вручил ей заветную связку, как глупый аргонавт, забывший залепить уши воском.

В тот вечер в кафе было полно народу. В Лиссабоне серьезно относятся к зиме: даже глинтвейн пьют с таким видом, будто за окном бушует альпийская метель и наутро склоны покроются свежим снегом, в который лыжная палка уходит почти целиком. Знакомая галеристка Соня Матиссен помахала мне издали, а потом подошла, улыбаясь:

– Сидишь один? Переходи за наш столик, там хороший вид на елку у базилики. Со мной пришли две стюардессы, у них полные карманы *maso*na.

Вокруг Сониной головы стояло сладкое душистое облако, это выдавало в ней португалку, несмотря на чужеземное имя. Здешние женщины не знают меры в духах и разговаривают с духами. Я встал, положил на стол деньги и пошел за галеристкой, удивляясь ее внезапному вниманию.

Стюардессы держали кружки с глинтвейном наотлет, коричный пар клубился над столом, затуманивая их лица, они рассказывали что-то смешное о тамошней корриде: быка выпускают бродить по улицам, а публика колет беднягу зонтиками и всем, что под руку попадется. Судя по загару, девчонки побывали на островах совсем недавно, и я почувствовал укол зависти. Я сам хотел бы поселиться на острове, только не на мусорной Терсейре, а на покинутой людьми Исабели. Лютас говорил мне, что там живет последний самец слоновой черепахи, старый холостяк, зовут его Одинокый Джордж, и он ужасно разборчив и не связывается с кем попало. А я вот связываюсь.

Я готов связаться хоть со смоляным чучелом, хоть с василиском, лишь бы не сидеть одному, прислушиваясь к паровозным гудкам в порту, хотя, по сути, я и есть Одинокый Джордж с панцирем, поросшим лопухами, и все, что мне нужно, – это остров в форме морского конька, пять молодых вулканов, нелетающие бакланы и олухи царя небесного.

* * *

Вчера я забыл притворить окно, и за ночь на одеяло намело рыхлый холмик снега. Пишу тебе в пуховых варежках из служанкиной передачи, наверное, она извлекла их из бездонного гардероба на втором этаже. Когда охранник по прозвищу Редька сказал, что ко мне посетитель, я так разволновался, что несколько минут ходил по камере, стараясь унять кашель. Поверишь ли, на какую-то секунду я даже подумал, что это ты, Ханна! Меня провели в комнату для свиданий по коридору, заставленному ведрами с краской и жестяными бочонками. Я просидел там около получаса, потом охранник вошел один и бросил мне на колени маленький сверток:

– Свидания вам не разрешены. Только после окончания следствия.

Развернув бумагу, я увидел белые варежки, как будто выпавшие из книги о путешествии к Земле Франца-Иосифа.

Сегодня я проснулся с мыслью о том, что можно писать, если не с кем поговорить. Эта возможность – одна из тех *других возможностей*, что составляют основу грубой холщовой бесконечности, где время – это всего лишь уток, слабая переменная. Там, за тюремной стеной, простираются поля других возможностей, затопленные постоянством воды, – господни поля под паром, я думаю о них время от времени.

Еще я думаю о смерти – о смерти я довольно много думаю. Пока я не увидел смерть своими глазами, я представлял себе что-то варварское, зверское, шумное и непостижимое, может быть, потому, что еще в школе прочитал у Бунина про павлинов и окаянные дни. Мужики в семнадцатом году поймали павлинов в помещичьей усадьбе, ощипали им перья и пустили бегать голых окровавленных птиц по двору – для забавы. Павлины кричали от ужаса и метались от дома к воротам, не в силах смириться с непоправимым, еще живые, но уже потерявшие облик и стыд. Потом они умерли. Я тогда не понял, что Бунин писал не про смерть, а про ненависть.

Настоящая смерть оказалась безликой, безгласной и безмятежной. Она отнимала возраст, имя и пол, как шекспировский купец отнимал бы фунт мяса у должника – в мановение ока, *before you say knife*. Бабушка Йоле уже перестала быть бабушкой, когда мы перевернули ее лицом вверх, она также перестала быть раздражительной стриженной дамой шестидесяти девяти лет, доводившей меня до безумия своими рацеями. В ее лице стояла темная вода, а волосы и брови казались сизым сфагнумом. Разбирая бумажные залежи в ее комод, я наткнулся на кожаную коробку на длинном ремешке, похожую на шахтерский фонарик, в коробке что-то шуршало, будто в бобовом стручке.

– Тфилин, – сказала мать, когда я принес ей свою находку. – Это вещь твоего прадеда Кайриса, вот не думала, что мама это сохранила. Она терпеть не могла мужнину родню.

Я сидел в комнате с завешенным синей простыней зеркалом, намотав тфилин на руку и думая о прадеде, которого я даже по имени не знал. Почему мой еврейский дед, пропавший в тайшетских лесах, начисто стерся из бабкиной памяти, а русского деда, сумасшедшего и злого, она поминала каждый день? Сколько во мне этой невезучей летней крови и сколько той, зимней, такой, как надо? Сколько во мне от пана Конопки, десять лет посылавшего мне пластмассовые грузовики, но так и не сумевшего прыгнуть в автобус и преодолеть расстояние от Вроцлава, или Кракова, или где он там распускает свои усы? И кого видит мать, когда молча смотрит на меня из темноты? Я так боялся этого взгляда, что, вернувшись из Тарту, несколько недель не смел признаться матери, что меня исключили. Кончилось тем, что мы снова поссорились и замолчали.

Наши с ней разговоры быстро превращались в то, что музыканты называют *obligato*, поэтому мы и раньше молчали целыми неделями, а к тому времени, как я стал собираться в университет, молчание между нами воздвиглось, как крепость. Отец был единственным, с кем она смеялась, будто горничная, говорила мне Йоле, пытаясь описать недолгую помолвку матери. Еще она говорила, что мой отец был *lošėjas*, игрок, и если я позволю его крови победить ее, бабкину, чистую, то стану таким же бродягой, внесенным в черные списки во всех городских казино.

* * *

Вкус у того, кто вынул из шкафа пистолет, был недурной, он выбрал наградное оружие, с гравировкой на серебряной щечке: за верную службу от генерала Умберту Делгаду.

Если бы кто-то сказал мне, что настанет день, когда в моей спальне будет лежать тело человека, только что застреленного неизвестным в вязаной шапке, я бы только пальцем у виска покрутил. Такое могло случиться только при прежних хозяевах, во времена полковника, его порывистой жены и малахольного сына, при мне же дом существовал тихо и бес-

тревожно. И вот этот день пришел: я сидел перед экраном в чужом коттедже, мешал коньяк с травой, слушал собачье царапанье дождя за дверьми и смотрел на труп на экране монитора. Но попробуем по порядку, чтобы тебя не запутывать.

Я приехал в Капарику после обеда и довольно быстро нашел летний домик: название “Веселый реполов” было выложено ракушками над притолокой. В углу гостиной стояли ведра, полные мутной воды, с забытыми в них кистями и щетками, рядом валялась пара голубых комбинезонов. Казалось, что рабочих позвали делать что-то более интересное и они побросали все и сбежали, не дожидаясь хозяйки. Коньяк оказался там, где Додо велела его искать, – в бельевой корзине, на самом дне. Топить печку мне не хотелось, так что я налил себе коньяку, уселся за стол и включил компьютер ровно в восемь, как было велено.

Подключившись к сети, я настроил камеры и вывел на экран шесть квадратных окон, заполненных серым мерцанием. Я помнил, что запись включается датчиком движения, если не было другой команды, так что наш маленький фильм запишется и без меня. Не прошло и получаса, как первое окно в верхнем углу монитора оживило, в нем появилась героиня в марлевой юбке, открывшая дверь ключом – значит, ей сказали, что связка хранится в пасти химеры. Юбка была пышная, слоистая, на манер балетной, из-под нее торчали тонкие ноги в разношенных ковбойских сапогах. Девушка бродила по дому, а я шел за ней следом, вглядываясь в собственные комнаты, казавшиеся теперь незнакомыми, и чувствовал себя персонажем лавкрафтовского рассказа, прижимающим нос к стеклу, за которым *старик* разговаривает со своими бутылками. Тогда я не знал ее имени и про себя называл девушку Хенриеттой, потому что так звали датскую студентку, с которой мы подрабатывали в яхт-клубе прошлой зимой. В клубе было пусто и не работало отопление, так что мы целыми днями пили кофе, уничтожая списанный администратором запас горелой арабики. Основа виски – это хорошая вода, говорила студентка, брала из бара тридцатилетний молт, щедро плескала в чашку и доливала в бутылку воды из-под крана. Потом мы выходили на берег и часами сидели на парапете, глядя на красные рыбацкие лодки в густом тумане.

Меня уволили отсюда задолго до начала сезона. Странное дело, за всю жизнь у меня не было работы, с которой я ушел бы по собственной воле. Вот и Душан, хозяин конторы *Em boas mãos*, попросил меня уйти, хотя я работал как проклятый и целыми днями мотался по лавкам, устанавливая наши дешевые системы с оглушительной сиреной, похожей на крик мандрагоры.

Имя Хенриетта стало подходить датчанке еще больше, когда она сбросила юбку и осталась в длинной тельняшке до колен. С именами такая штука: иногда их лучше не знать, иногда они велики или малы, бывают имена, которые можно носить за щекой, как леденец, а бывают сухие и безлюдные, будто саванна. Женщине, которая впутала меня в эту историю, ее имя было явно маловато, ну что это такое – до-до-до, красный язык, трепещущий во рту, дразнящая *lingua dolosa*.

Датчанка передвигалась по комнатам с такой скоростью, что я едва успевал переводить глаза на новое окно. В какой-то момент я видел все пять комнат одновременно, будто сидел в каптерке музея, где запись ведется постоянно. Это потому, вспомнил я объяснения Лютаса, что камера, уловив движение, продолжает съемку еще несколько минут, если ее не остановить. Добравшись до спальни Лидии, девчонка распахнула гардероб и оглядела одежды старшей сеньоры – длинные платья висели плотно, на деревянных распялках с ребрами, похожих на учебные скелеты. Эта комната была единственной в доме, где сохранилась прежняя обстановка: палисандр, павлиньи перья, эбеновое дерево.

Хенриетта сняла с вешалки белую концертную столу с рукавами, как у смиренной рубашки, – наверное, хозяйка пела в ней перед гостями во времена *Estado Novo*. В те времена люди носили белое, городскую брусчатку чистили с порошком, а суровый кондукатуш еще не свалился со стула. Держа платье перед собой и глядя в зеркало, датчанка набрала

воздуху, округлила рот и запела. Жаль, что звук у меня не подключен, подумал я, голос у нее должен быть сильным, какое-нибудь драматическое сопрано. Потом Хенриетта сняла свою тельняшку, уронила на пол и переступила через нее. Я посмотрел на часы и подумал, что неверный муж опаздывает уже минут на сорок. Под тельняшкой у датчанки ничего не было, даже трусов. Я нажал на кнопку *zoom* и увидел татуировку на впалом животе – ящерицу, бегущую вниз, в заросли негустой светлой шерсти. Потом я увидел детородный уд, достойный обезьяны Сунь У-куна из “Путешествия на Запад”.

Вот оно что, подумал я, невольно выключая камеру. Теперь ясно, что у нее не сопрано. Интересно, будет ли это сюрпризом для блудного мужа. Впрочем, нет, неинтересно. Этот маленький веселый фильм на глазах превращается в большую херню. Похоже, дело вообще не в разводе, а в шантаже или в чем-то вроде этого. А меня используют как подставного клоуна, а потом, глядишь, и в суде попросят выступить. Нет уж, Додо, сладкоголосая птица юности, дальше полетишь без меня. Я допил то, что оставалось в рюмке, поставил запись на автоматику, надел плащ, сунул бутылку в карман и пошел к океану.

* * *

Дорожка из желтых кирпичей вела за ворота, а потом терялась в зарослях можжевельника, превращаясь в тропинку в пологих дюнах. Чистый песок стеклянно блестел на солнце, такого на нашем море уже не осталось, разве что на косе, возле самой Ниды. В тот день небо над океаном было такого же цвета, как песок, с помарками сизых облаков у горизонта. Белизна португальского неба меня не слишком вдохновляет, другое дело – январское, морозное, выбеленное небо где-нибудь в Молетай, над озером.

Три недели назад я ушел из кафе с самой смешливой из сидевших за столиком Сони стюардесс. С высокой девицей, у которой была кличка, звучащая как название вымершей птицы с Маврикия, а имени не было. Мне показалось, что она немного, самую малость, похожа на Зое: зеленая радужка в пятнах охры, светлые косы, свободное платье до пола. А сегодня я оказался на противоположном берегу реки, связанный дурацким обещанием и терзаемый нехорошим предчувствием. У меня даже кончики пальцев онемели, так близко я чувствовал макбетовских ведьм, пока бродил по берегу, прихлебывая коньяк.

Я шел вдоль берега, по самой кромке, отмеченной красноватыми лохмотьями каррагена, вода норовила дотянуться до моих сандалий, найденных в прихожей коттеджа. Сандалии были плетеные, на размер больше, чем надо, наверное, они принадлежали мужу, неверному сеньору Гомешу, его имя я увидел на крышке почтового ящика.

Начинался дождь, и народу на пляже было немного. У деревянной будки спасателя сидели двое игроков в карты: толстый, докрасна обгорелый англосакс и азиатская девушка в пальмовой шляпе. Они крепко шлепали картами по песку, морщились, кряхтели, но не произносили ни слова. Я подумал было, что это пара глухонемых, но тут мужик обернулся ко мне и попросил зажигалку. Девушка поднесла два пальца ко рту и выпустила воображаемый дым, на случай если я не понял.

Я помотал головой и пошел дальше, думая о молчании, разделяющем – или соединяющем? – людей, не знающих ни слова на чужом языке. Однажды Лилиенталь рассказал мне, что лет десять тому назад, в Альбуфейре, он выкопал из песка женщину, говорящую на *galego*. Шел по пляжу, увидел на песке золотой браслет, хотел его поднять и вытянул тонкую смуглую руку, будто ореховый прутик из земли выдернул. Женщина оказалась танцовщицей из Веракруса, она любила закапываться в песок, будто геккон, спасающийся от жары, и упорно говорила только на своем языке, так что они молча пошли в отель и занимались там любовью без малого трое суток.

– Поверишь ли, пако, – сказал Лилиенталь, – это были лучшие дни за все лето: семьдесят часов безукоризненного молчания. Уверен, что галисийка забавлялась не хуже моего, к тому же, повзрослев, я понял, что это был розыгрыш, но какой осмысленный!

Дождь начал накрапывать сильнее, и я уже повернул обратно, в сторону коттеджа, когда телефон в кармане плаща зазвонил.

– Тебе там хорошо, Константен? Нашел бутылку, о которой я говорила?

– Нашел и почти прикончил. Твой муж не слишком торопится на свидание, так что я поставил камеры на автозапись и пошел гулять.

– Бывший муж, – весело поправила она. – Думаю, там все недолго продлится. Если я правильно помню, минут десять с прелюдией. Закончишь запись и можешь сразу ехать домой.

– Кстати, твоя девочка оказалась мальчиком. И довольно крепким.

– Какая разница? – Додо, похоже, не удивилась. – Мальчик даже лучше. Возвращайся в дом и заканчивай дело. Ты поступаешь как настоящий друг, и тебе не придется об этом жалеть.

Настоящий друг. Хотел бы я увидеть эту женщину еще раз, например на очной ставке: я бы напомнил ей одну старую португальскую поговорку. *Quem tem amigos não morre na cadeia*. Кто имеет друзей, не умирает в тюрьме.

Зое

На острове Борнео жили когда-то племена, считавшие, что после смерти все меняется на свою противоположность: горькое на сладкое, темное на светлое, мрачное на веселое, надо только попасть в правильный рай. Я же думаю, что вещи становятся противоположными задолго до этого, стоит только поверить, что ты умрешь. Вот только стрелка все время указывает вниз, то есть против шерсти. Равнодушие меняется на ненависть, безразличие – на отчаяние, хладнокровие – на безумие.

Все началось примерно через год после вашего с матерью отъезда из Лиссабона. Мой муж Фабиу стал спать у себя в кабинете, говорил, что работает по ночам. Однажды утром он долго не показывался, и я решила отнести ему кофе с фидами, нам как раз принесли корзину сушеных фигов в подарок. Было зимнее дождливое воскресенье, дверь в кабинет немного разбухла, я поставила поднос на пол и толкнула дверь обеими руками. Фабиу сидел на разобранной постели полностью одетый: в траурном тесном костюме и лакированных ботинках. Я поставила поднос возле кровати, взяла его за руку, рука была легкой и холодной, будто обледеневшая ветка. В то утро я оставила его в покое, мы относили ему еду и ставили под дверь, но он пил только воду, и через неделю Агне вызвала врача.

Мой муж никогда не впадал в отчаяние без причины, и я стала думать. Сначала я решила, что он переживает из-за той девчонки с нашей улицы, что пропала в начале января, об этом тогда много говорили. Помнишь дом в переулке Беку с изразцовым портиком? Дочка зеленщицы, Мириам, жила там со своей матерью, у нее была какая-то болезнь, от которой лезли волосы, и она всегда ходила в косынке. В январе она исчезла. Полиция искала ее даже в реке, хотя Мириам никогда не купалась. Агне училась с ней в школе и рассказывала, что девчонке приходится несладко и что завтракает она отдельно, в столовую не ходит. Помню, что видела ее однажды: школьницу в беретике и красном пальто, сидящую на качелях с бутербродом в руке.

После нескольких визитов доктора муж пришел в себя, повесил черный костюм обратно в шкаф, начал гулять с собакой по вечерам, спускался в погреб за своим любимым *Quinta do Têdo*, но при этом улыбался нам такой старательной улыбкой, что лучше бы не улыбался совсем. А потом мы нашли его в петле, вернее, служанка нашла, петлю он сделал

из витого шнура, на котором висела бразильская гравюра Дебре. Наследства мы не получили, все семейные деньги достались его сестре, так уж было составлено завещание Лидии. Хорошо еще, что дом тогда не был заложен, – мы остались без гроша, но с надежной крышей над головой.

Он оставил мне письмо в запечатанном конверте, но я не стала его читать. Помню, что на обороте конверта были в столбик написаны имена лузитанских богов: кажется, Bandonga и еще штук шесть, как будто он подыскивал пароль для компьютера. Весь последний год мы ссорились, я доводила его до слез, он уходил в комнату матери и сидел там часами, запершись на ключ. Однажды мне приснилось, что моя свекровь сидит там в своем кресле-качалке, в парадном жестком платье, будто Инес де Кастро, мертвая королева, которой придворные целовали высохшую руку. Она смотрит в окно, а муж положил голову ей на колени. Никогда не потешайся над людьми, Косточка, а то они умрут и оставят тебя одного. В этом кресле-качалке я тоже люблю сидеть, особенно теперь. Между прочим, ему лет двести, не меньше, полозья и поручни железные, а подушка из мелко простеганной черной кожи.

Думаю, тебе оно придется по вкусу. Ты ведь приедешь сюда после моей смерти, Косточка. Приедешь, куда ты денешься.

Костас

– Нажмешь кнопку, и будет записывать хоть сто тысяч лет, пока в мире не кончится электричество, – сказал Лютас в тот день, открывая коробку с камерой. – Звука нет, зато видит в темноте: двадцать четыре диода повышенной яркости.

Я видел, что ему не по себе. Его выдавал румянец, на котором от волнения всегда выступают белые пятна, как будто ему только что дали пощечину. В тот день я подумал, что дело в камерах, за которые он заплатил чертову уйму денег. Но теперь я знаю, что дело было во мне. Я стоял слишком близко.

Наша дружба была чем-то вроде *мечты о ломтике свежеподжаренного хлеба*. Не удивляйся, так называлось произведение американской художницы, купленное Ричмондским музеем. Она написала о ломтике хлеба, который в своем воображении намазывала маргарином, и это назвали *objet d'art* и заплатили приличные деньги. Мир полон воображаемых вещей и людей, у некоторых даже за гробом хмуро идут воображаемые друзья.

Я знал, что у нас с Лютасом не все обстоит так, как выглядит со стороны, и многое существует только в моей голове. Мне всегда казалась немного преувеличенной его скабрёзность и уличное, грубое стремление к женской плоти. Я знал, что в нем тикает опрятный, педантичный механизм, *Ordnung muss sein*, но при случае он запросто выкинет со мной вероломную штуку, особенно если речь идет о хлебе насущном.

Зато он умел давать советы, как никто другой. Именно Лютас сказал, что мне следует уехать в Лиссабон и поселиться вместе с захворавшей теткой. Я же колебался, в основном из духа противоречия. Пустую мансарду мне обещали отдать целиком, оттуда можно было спуститься во двор по пожарной лестнице. Когда-то давно Фабиу проделал в крыше дыру величиной с овечью голову и застеклил витражными осколками. Об этой мансарде я часто думал по утрам, я представлял себе, как просыпаюсь под хлопанье голубиных крыльев, завариваю себе кофе и смотрю вниз, на реку.

Еще я думал о том, как в первый же день достану тетрадку из тайника. В девяносто первом я спрятал ее в нише стены, сложенной из голубоватого камня. Тогда в этой нише, забранной решеткой, лежала связка кукурузы и стояла бутафорская бутылка вина, теперь бутылка исчезла, а от початков осталось несколько пересохших зерен. Опуская рукопись в дыру под вывеской *Produtos nobres*, я был уверен, что вернусь за ней через год. Но больше нас с матерью в Лиссабон не приглашали.

Я думал тогда о тысяче вещей, которые сделаю в этом городе, и совершенно не думал о тетке, понятия не имею, как это у меня получалось. Я жалел ее, но какой-то олимпийской прохладной жалостью, как человек, который знает, что сам никогда не умрет. Я уже видел, как стареют женщины. Моя мать постарела очень быстро, за одну рождественскую неделю. После первого семестра я приехал домой, в феврале мне предстояло вернуться в Тарту, чтобы сдать два паршивых зачета, эстонский язык и физкультуру. Я сидел на кухне с учебником Пялля и смотрел в окно, на чистый, заснеженный двор, где носился соседский терьер. В эстонском мне не хватало родов и артиклей, но хуже всего было отсутствие будущего времени – жизнь представлялась мне лентой Мебиуса, где я вынужден был то и дело возвращаться на прежний изгиб, к холодному тартускому нулю.

С физкультурой дела обстояли еще хуже, вся надежда была на теннисистку Ханну, с которой я ходил на преподавательский корт, – ее дальняя родственница по материнской линии и была той валькирией, что вlepила мне незачет. Я пропускал ее занятия с тех пор, как валькирия заставила меня прыгать через деревянного коня, стоящего посреди зала. Те, кто отказывался, подвергались наказанию: их сажали под конское брюхо, чтобы через них прыгали все остальные. Я разбежался, ударился животом, разбежался снова и с перепугу перепрыгнул, правда, приземлился не слишком удачно.

– Посмотрите на него, – сказала валькирия, – такое красивое тело, и никакой гибкости, совершенная деревяшка!

Она сказала это по-эстонски, но Ханна, стоявшая неподалеку, улыбнулась и вполголоса перевела фразу на русский. Это была самая высокая девочка в группе, которую все звали *Колокольня*, а я звал *Atalaya*, потому что испанский был мне куда милее эстонского. Слушай, Хани, как-то странно писать о тебе в третьем лице, но если я стану говорить *ты*, то, вполне вероятно, не смогу сказать все, что думаю. Больше я туда не пошел, и в декабре меня не допустили к сессии. Я стал собираться домой, уложил вещи, но вечером встретил Ханну в кафе на Юликооли, мы съели пару сахарных пончиков и решили пожениться.

– Подадим заявление в муниципалитет, я сообщу маме, она позвонит мегере и попросит дать тебе шанс, – сказала мне Ханна. – У нас, эстонцев, родня – это святое. А жениться необязательно, разве что ты сам этого захочешь. Сдашь сессию, и забудем об этом.

– Там летает птица пятицветная с красными полосами, под названием циту, – произнес я нараспев, глядя на гольфы моей невесты. На нашем курсе все читали и цитировали “Каталог гор и морей”, переведенный моим соседом Мяртом на эстонский. Перевод ходил в списках, тонкая пачка желтоватого папье-пюре, наверняка китаист выдрал их из альбома с гравюрами.

Мы поженились за сорок минут в кабинете тартуского муниципального чиновника, валькирия не стала ссориться с родней, я спокойно сдал экзамены, взял билеты, попрощался с китаистом, уехал домой ночным автобусом, вдребезги напился с Лютасом на заднем дворе и, отоспавшись, увидел, как мать постарела.

* * *

Я остановился на телефонном разговоре с Додо, верно? Поговорив, я отправился домой кружной дорогой, через пустую рыбацкую деревню, где все то ли спали без задних ног, то ли вышли в море. Дождь наконец-то пошел в полную силу, тяжелый и грязный, пустивший вдоль пляжной ограды серую клубящуюся пену. Вернувшись, я сбросил мокрый плащ, присел к столу и взглянул на экран компьютера. Пять окон были темными, зато свет горел в спальне Лидии, я увеличил шестое окно, взглянул, и меня тут же скрутило грубой, нестерпимой судорогой.

Белый ротанговый комод был забрызган кровью, зеркало над ним было забрызгано кровью, белая стена была забрызгана кровью, на полу лицом вверх лежала датчанка в белом платье, залитом кровью до самого подола. Я смотрел на экран не отрываясь несколько минут, пытаясь уловить вздох или движение ресниц, но тщетно: Хенриетта была мертва. Убийство было совершено грубо и неказисто. Кровь стояла на полу просторной черной лужей.

Я захлопнул крышку, отошел от стола, вынул бутылку из кармана плаща и отхлебнул, обжигая горло. Коньяк показался мне горше желчи, хотя я понятия не имею, какой у нее вкус. Некоторое время я стоял, уставившись в окно, думая о какой-то чепухе: все, конец стрекозам и винограду, в спальне придется переклеить обои, а белый комод – так и вовсе выбросить. А что, если мне померещилось? Глупость, конечно, но привиделся же мне в детстве черный журавль на берегу пруда, непроглядно черный журавль на золотых ногах, быстро взлетевший, когда я подошел поближе. Я позвал бабушку, но пока она шла от крыльца к мосткам, журавля и след простыл. Потом она долго убеждала меня, что таких в природе не бывает, но ведь я видел его сверкающие ноги и слышал сиплый свист.

Я включил компьютер и запустил программу. Все экранные окошки показывали белесую мглу, значит, в доме никого не было с тех пор, как убийца его покинул. Я отмотал запись назад и снова увидел Хенриетту на полу спальни, она казалась еще мертвее прежнего. *Так исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке.* Кажется, это сказал Лютас, объясняя мне свой невидимый сценарий. Наверняка слямзил у кого-нибудь.

Вот о чьем отсутствии я тогда пожалел: Лютас не сидел бы там, как идиот, не вертел бы в руках пустую рюмку и не думал бы о черных журавлях. Мой практичный бичулис точно знал бы, что нужно делать. А что нужно делать? Я сел на подоконник, достал из футляра от ингалятора последний косяк и попытался думать, хотя в голове у меня звенела стая безумевших железных пчел. Думать не получалось, я посидел минут пять, вернулся к столу и увидел, что шестое окно затянулось сизой рябью. Ясно, датчик отключился. Из этого следует, что убийство произошло меньше получаса тому назад, между десятью и одиннадцатью, так и скажу полицейским, когда приедут. Я запустил программу, чтобы посмотреть запись с самого начала.

В одном окне я увидел Хенриетту в концертном платье, беззвучно поющую перед зеркалом. В другом окне появился невысокий человек в перчатках и вязаной шапке, закрывающей лицо, остальные окна остались темными. Человек быстро прошел через гостиную, зажег свет, достал из-за пазухи что-то вроде короткой палки, обмотал палку плащом и выбил нижнее стекло оружейного шкафа. Потом он просунул руку внутрь, снял пистолет с подставки, вытащил обойму, достал из кармана плаща патроны, зарядил и передернул затвор. Я не смог разглядеть гравировку на рукояти, но я и так знал, что там написано. *За верную службу от генерала Умберту Делгаду.* Камер на первом этаже больше не было, так что я увидел его только наверху, когда он поднялся по лестнице и попал в поле зрения камеры номер пять.

Я успел подумать, что человек в шапке с прорезями для глаз похож на сингальского демона болезни, которого я видел в Восточном музее, только тот был сделан из папье-маше. Потом я увидел открывающуюся дверь спальни, а потом Хенриетту, которая хваталась за грудь, падала навзничь и заливалась кровью. Все произошло быстро, в оглушительном безмолвии, но мне показалось, что я слышу выстрелы, скрежет и звон стекла. Парень в шапке присел на корточки, пощупал ее шею, положил пистолет рядом с телом, спустился на первый этаж, мелькнул в окошке номер один, снял перчатки, сунул их в карман плаща и вышел из дома. Конец записи. Я не слышал выстрелов и не могу сказать тебе, сколько раз он продырявил худосочное тело датчанки и белую столу сеньоры Брага. Думаю, что не меньше четырех.

* * *

– Общежитие – это такой способ жизни в аду задолго до того, как ты начинаешь верить, что умрешь, – сказал я тетке, когда вел ее в нашу комнату на улице Пяльсони, надеясь, что китаист купил все, что было велено.

В каком-то смысле я предпочитал жить в аду. Дома меня ждала тишина, потеки плесени на северной стене, ванная, густо завешанная бельем, запах карболки и вечное сырое молчание матери. Говорят, великана Имира вскормила первозданная корова: она лизала соленые ледяные глыбы, и там, где горячий язык прикасался ко льду, выросли волосы первого человека. Моя мать вскормила свое великанское одиночество, а я появился на свет случайно. Когда это случилось, моя бабушка Йоле довольно быстро выставила мать из дома. Не потому что я родился бастардом, а потому что мать не желала просыпаться по ночам и бабушке приходилось менять пеленки.

Меня уже три дня не вызывали на допрос, я делаю круги по камере и размышляю о женщинах. Женщины созданы для того, чтобы мы разгадывали их уловки. Бесхитростная женщина противна природе. Я пытаюсь разгадать уловку Додо, но в голове у меня маячит ее спелый каталонский зад и темнеют две терновые ягоды, кисловатые, будто лепестки батареи.

Женщина подобна рою июльской мошкеры, ее физика являет собой броуновский хаос, а вовсе не скольжение и поступательное движение, как многие думают. Что до метафизики, то она составляет лишь ту часть женщины, которую она использует, чтобы морочить тебе голову. Уходя, она забывает тебя начисто, *igra! igra!* – так лузитанец на рыбном рынке ударяет ножом по стальному прилавку, отсекая мерлузе голову и хвост.

Все это я знаю теперь, а тогда в отеле “Барклай” я не знал, что и думать, когда тетка сбросила мокрое платье и бродила по комнате в поисках халата, не обращая на меня внимания. В девяносто первом, когда я увидел Зое в первый раз, эта сцена показалась бы мне чистым вымыслом. В тот день мы с Фабиу стояли на заросшей травой крыше дома и смотрели вниз, на круизные корабли. Тетка мелькнула на нижней террасе, поглядела на нас, прикрыв глаза рукой от солнца, я успел заметить, что на ней плетеные сабо на босу ногу. Потом она перешла улицу, поздоровалась с кем-то, нырнула в подвал под вывеской “Панаджи” и вышла, прижимая к груди пакет с торчащими копиями французских булок.

Я смотрел на нее не отрываясь: как эта девчонка может быть сестрой моей матери? Она была из моей жизни, легкой, непрочной жизни собирателя марок, спящего на матрасе у стены, заклеенной постерами “Аквариума” и “Кино”. Она не могла принадлежать пани Юдите и пани Йоле, их затхлой, пахнущей корвалолом жизни, полной обид и недоумения.

Что сказала бы тетка, будь она здесь, со мной? *Милый, мы все в тюрьме, только не у всех хватает воображения, чтобы это понять.*

Что сказала бы бабушка Йоле, будь она жива?

Молись святому Иуде Фаддею, заступнику в безнадежных делах.

И что скажешь ты, Хани, прочитав этот файл?

Ну и муженек мне достался, куррат, куррат.

* * *

Было около полуночи, я начисто забыл, какая дорога ведет к автобусной станции, и брел вдоль заборов, с отчаянием вглядываясь в зашторенные окна. Поселок был темным и пустым, только фонари на главной улице сияли в мокром тумане, будто огни святого Эльма на мачтах. Под одним из таких фонарей я увидел пальмовую шляпу, висевшую на столбике

ворот, и вспомнил азиатку, которую видел днем на пляже. Белая кнопка всхлипнула, но звонок не сработал. Я постучал костяшками пальцев по косяку, набрал горсть мелких камней и перекинул ее через стену. За воротами хлопнула дверь, и послышались шаги по мокрому гравию.

– Мне нужно позвонить! Я ваш сосед! Я живу в “Веселом реполове”!

Человек некоторое время постоял за воротами, потом я услышал, как осторожно поскрипывает гравий, и понял, что он уходит в дом. Я посмотрел на часы и пошел в сторону терминала, думая о том, что двадцать минут уже потеряны и скоро в моем алиби не будет никакого смысла. В кармане плаща звякнул телефон, я с трудом открыл его мокрыми руками.

– Константен! Уже едешь домой? Ну что, видел моего мужа?

– Видел. На нем была вязаная шапка с дырками для глаз.

– Разве это не забавно? – хихикнула она. – А красных бархатных наручников на нем не было?

– Слушай меня внимательно. Твой муж, сеньор Гомеш, пришел туда в вязаной шапке и застрелил девчонку. Или парня, но это уже не важно. Сделай так, чтобы тело убрали из дома к моему возвращению. Иначе я позвоню в полицию.

Кровь шумела у меня в висках, заглушая дождь. Я стоял под крышей остановки и ждал, что ответит Додо. Вдруг она засмеется и скажет: “Ага, испугался? Здорово мы тебя разыграли?”

– Какой сеньор Гомеш? Какое тело? – Она подула в трубку, как будто в ее мобильном телефоне была мембрана с угольным порошком.

– Там все кровью залито. Датчанка убита. Твой муж скрылся. Быстро поезжай и разбирайся с этим сама. Или я звоню копам.

– Дай мне минуту. – Я услышал стук каблучков по бетонному полу, потом хлопнула дверца машины, и стало тихо. Не знал, что у нее есть машина, она вечно металась в поисках такси. Похоже, я много чего не знал.

– Мой муж не мог этого сделать, – сказала она после долгой паузы, – он даже стрелять не умеет. Это какая-то параллельная история. У девки, наверное, были проблемы с сутенером. Или с дилером. Слушай, а где сейчас твоя прислуга?

– При чем здесь прислуга? Ты приедешь сюда или нет?

– Нет. Сиди в коттедже и никуда не звони. Я все устрою. Туда придет человек и сделает то, что нужно. Проклятая шлюха, merda. – Она вздохнула, и я услышал звук заводящегося мотора.

– Ее звали Хенриетта, – сказал я надписи *вызов завершен*. – А шлюха – это ты.

* * *

В Крещение льда не выпросишь, говорила няня, вот что у нас за бабушка. Когда мне исполнилось шесть лет, мы с матерью перебрались жить к Йоле, не желавшей оставаться в одиночестве. Красивый муж умер, а законный сгинул на каторге, говорила бабка, жалобно кривя губы, а я смотрел на нее и думал, что у меня все не как у людей. Один дед затерялся в тайшетских лесах, второй рехнулся, отца никто толком не видел, а мать выглядит старше бабки и пахнет марганцовкой.

Моя мать и Зое не считали друг друга родней, так что я глазам не поверил, когда в девяносто первом мы получили приглашение из португальского консульства в Варшаве. Что до матери, то приглашение произвело тот же эффект, какой произвел на Рамзеса мирный договор царя хеттов, выгравированный на серебряной пластине.

– Мы поедem в Лиссабон, – сказала мать. – Ты увидишь дом, в котором живет моя сводная сестра. Ради этого дома она вышла замуж за богатого человека. Много с ним не разговаривай, говорят, он в уме повредился.

И вот я увидел этот дом: гостиную с панелями, за которыми скрывались ржавые трубы отопления, столовую с витражными дверями и кабинет с дубовым столом, ножки которого были изгрызены неведомым животным. Дом был задущен коврами, набитыми пылью, как тополиные коробочки пылью, и если *знание – это моль*, то они были проедены безмолвным знанием во многих местах. Один из ковров лежал даже на рояле, будто скомканный плащ на руке фехтовальщика. Сейчас мне пригодился бы такой ковер, а лучше два. В феврале тюрьму перестали топить, полагая, что началась весна.

Сегодня все валится из рук, даже кофе в картонном стаканчике, принесенный охранником, показался мне безвкусным. Все утро думаю о том дне в богом проклятой Капарике, с которого все началось. О двенадцатом января две тысячи одиннадцатого года.

Когда, прокрутив проклятую запись раз десять, я отправился домой в Лиссабон под проливным дождем, пьяный и обкуренный, мне пришлось целую вечность стоять на шоссе возле бензоколонки, пытаясь разжалобить редких ночных водителей. Я забыл снять сандалии Гомеша и теперь жалел о своих мокасинах, оставшихся в коттедже. Сумку с компьютером я держал над головой, отступая с обочины в кусты, когда мимо проносились тяжелые фуры, поднимая черные хлещущие веера воды.

Помню, что, глядя на экран с мертвой датчанкой, я не испытывал страха, только растерянность и досаду. Страх просыпается во мне, только если дело касается кого-то еще, вернее, так: когда плохо не только мне, а виноват я один. По-настоящему я пугался только два раза в жизни. Первый раз – когда попал мячом в голову соседскому мальчишке и он упал лицом вниз и начал сучить ногами. Кровь текла у него из носа и, казалось, отовсюду, смешивалась с пылью и превращалась в черную шерстистую корочку. Я даже крика его не слышал, у меня заложило уши от ужаса, помню, что я сам принялся кричать, а потом меня забрали домой.

Второй раз – когда нас с теткой застукали в ванной и на ней было только полотенце. Мать повернулась, не сказав ни слова, пошла к себе, заперлась и ходила там, роняя вещи на пол. Тетка же, одевшись и высушив волосы, прошла мимо ее комнаты и стукнула костяшками пальцев в дверь:

– Юдита, мы уходим гулять, вернемся поздно.

Мать не ответила, но ходить за дверью перестала.

– Маменька сочла сливы, – сказала тетка насмешливо. – Одевайся, Косточка, и выведи меня отсюда, ради бога, на чистый воздух.

Хотел бы я и сам выйти отсюда на чистый воздух. Второй день идет снег, валится толстыми хлопьями, будто пух из ангельских перин. Охранник заявил, что не помнит, когда в последний раз видел такое, и что это нарочно для меня на небесах устроили. У вас, русских, все время снег идет, сказал он, поэтому вы все немного с приветом.

Я – русский? Получая паспорт в девяносто втором, я заполнял анкету в отделении милиции и благодарил бога за то, что из него убрали графу “отчество”. Фран-ти-ше-ко-вич звучало длинно и безжизненно, к тому же я никакой не Франтишекович, мой отец не явился к алтарю в условленный день. Говорят, он сбежал во время польских каникул – прямо из гостиницы в Закопане, вышел за сельтерской с сиропом и пропал. Единственный, кто видел его в лицо, был следователь Иван, мой приемный дед, у которого к тому времени появились первые признаки безумия: он ждал, что за ним придут, и подолгу сидел на полу у двери, прижимая к груди полотняный мешочек с сухарями. Полагаю, это показалось Франтишеку рискованным предприятием – жениться на падчерице русского майора, да еще и полоумного. К тому времени матери было двадцать четыре года, по виленским понятиям старая дева.

Ты спросишь, почему я начал писать роман по-русски? Да нет никакой особой причины. Литовский – это моя кровь, а русский – лимфа, он выводит из меня желчь и отравленное напряжение. Для этого человеку и нужна литература, не верь тому, кто говорит, что ему она нужна для чего-то другого. Примерно для того же нужна и трава.

Лютас

Эти заметки к сценарию я начал в сентябре, а теперь январь.

Я не знаю, пригодятся ли они, потому что не уверен, что стану снимать кино. Хотя какое-то кино. Меня тошнит от того, что я делаю, и еще больше – от того, что я уже сделал. Плоть больше не вызывает у меня любопытства. Тугие черные груди, тугие белые груди, ложбинки, коленные чашечки, берцовые кости, голубая пудра и белая слизь – все стало реквизитом, в котором я деловито разбираюсь. Соединяю осевое отверстие и сопрягаемую деталь. До сих пор помню лицо Кайриса, вошедшего в комнату, где я просматривал эпизод для бельгийского заказа: он ожидал от меня большего. Ему было меня жаль. Он ведь не знал, что я уже начал свой настоящий фильм, *echt und unparteiisch*, просто дело еще не дошло до натурных съемок. Зато теперь дошло: стальная шестеренка о восьми зубцах зацепилась за стальную шестеренку, у которой их двадцать четыре, и понеслось.

Пару лет назад один немец по имени Клаус Берч в одной из своих телепрограмм показал подлинные кадры, запечатлевшие старушку, впавшую в состояние шока, после того как в ее дом ворвались грабители. Зрители решили, что сцена была постановочной и режиссер снял в ней актрису, – ему просто никто не поверил. Я это хорошо понимаю. И фон Триера понимаю, когда он составляет свои манифесты и везде кричит, что жанр сбился с пути и перестал описывать реальную жизнь.

Когда я снимал свой дипломный фильм, все было просто: я посадил человека на стул и попросил рассказать историю. Такую дикую историю, что к ней не нужны были никакие картинки, она и так выжимала слезы не хуже горчицы. Но на защите мне сделали замечание: монотонный видеоряд, монотонный звук, каменное лицо с неподвижными глазами, через двадцать минут зритель, безусловно, засыпает. Я и сам знал, что где-то напортачил. Я представлял себе человека, который не знает, что он жертва, совершает натуральные действия и говорит не на камеру, а сам с собою – а мы подглядываем. Но ведь не подслушиваем! Потому что никто не говорит сам с собою вслух. Люди поют в клозете, читают стихи под душем, бормочут мантры перед сном, но никто не говорит о том, что думает, не бубнит закадровый текст.

Похожая штука у фон Триера про пингвинов. Два пингвина бредут к морю. Голос за кадром уверенно говорит: “Пингвины забывчивы, так что в следующую минуту они вернутся обратно в поисках того, что отправились искать!” Откуда вы знаете, черт бы вас подрал, что происходит в мозгу пингвина, когда он бродит по берегу?

* * *

Я начал этот сценарий после того, как в последний раз видел Габию. В начале сентября, когда приезжал из Берлина, чтобы на ней жениться.

– Ты где был так долго? – Она открыла дверь, не спросив, кто пришел, а может, у нее и вовсе было не заперто. Шторы были плотно задернуты, из-за темноты и шороха мне показалось, что я вошел в пещеру с летучими мышами, но это оказался вентилятор под потолком, вяло двигавший деревянными лопастями. Я включил лампу, оглядел комнату и не увидел ни кройки, ни шитья, никаких следов работы.

– Где был? За спичками вышел, – попробовал я пошутить, положив букет на стол. Я хотел пойти к ней пешком с автобусного вокзала, но передумал, поехал домой, принял душ, надел свежую рубашку и взял такси, чтобы завернуть на рынок за пионами.

– Где твои куклы? Какие новости?

Габия закашлялась, вытерла рот рукавом халата, а потом сказала:

– Новости? Соля умерла, а я умом тронулась.

Я сделал вид, что не расслышал, сел возле нее на кровать и почувствовал запах немытого тела. На Габии был махровый халат, на груди он заметно расходился. Волосы она остригла слишком коротко, теперь я видел ее высокий лоб с красноватой родинкой, а раньше не видел. Я вообще не знал про эту родинку. *Поехали со мной*, хотел я сказать, *Солю не вернешь*, но вместо этого сказал:

– Собирайся, поведу тебя обедать. Деньги есть. Или давай останемся, музыку послушаем.

– Ага, послушаем. – Она глухо засмеялась. – Другие барабаны.

– Какие еще барабаны?

– Другие. Во французской армии. Потери слишком велики, нужно отступить и вернуться с подкреплением.

У нее появилась манера щуриться, запрокинув голову, как будто подставляя лицо яркому свету. Половину ее речей я вообще не понимал. Так же как раньше не понимал ее стихов, написанных почему-то на двух языках сразу.

Душа твоя – siela, a kūnas – тело,
на него голова прилетела и tyliai села,
будто бражник пушистый темный,
до тебя я ловли сачком не знала,
patī sau была младенец приемный
и жила viena – как хотела.

Габия сидела спокойно, сложив руки на коленях, но я видел, что ей не по себе, от волнения у нее всегда набухает голубоватая жила на лбу.

– Другие барабаны – это когда бой окончен, – настойчиво повторила она. – Услышишь, и поворачивай назад! А потом вернись с подкреплением.

– Ладно, я понял. Выходит, обедать ты не пойдешь.

– Потери слишком велики, и нужно отступить. Ты иди, пожалуй. Мне надо выспаться, я теперь в театре сторожу на полставки.

– В каком еще театре? Я же тебе деньги посылаю. Ты их хотя бы получаешь?

Габия кивнула, сняла халат, забралась в кровать с ногами и мгновенно заснула. Я лег рядом с ней, укрыл ее пледом и пролежал так часа полтора, пока она спала. На стене висел все тот же ковер с вышитой пастушкой, за пастушкой бежали голубые гуси.

Мы не виделись два года, я посылал ей деньги, подарки, короткие сообщения, но ни разу не получил ответа. Ничего, думал я, вот кончится длинная немецкая зима, я приеду в Вильнюс и велю ей собирать чемоданы. Покажу ее немецким докторам, и все наладится. С деньгами было туго, но я надеялся на несколько крупных заказов. Временами я подрабатывал у тирольца, хотя он мне порядком осточертел.

Время тянулось медленно, вентилятор шуршал, Габия спала. Я смотрел на ее неровно стриженный затылок и думал, как вести разговор, когда она проснется. Главное, не нажимать. Обещать берлинские галереи, кисельные реки, молочные берега, не упоминать докторов. Так я думал, лежа там в тишине, под голубыми гусями. Главное, не нажимать.

Костас

На аукционе нетерпеливые дилетанты стучат каталогом по спинке стула, когда хотят подать знак, хотя достаточно кивнуть аукционисту, который зорко всех оглядывает. Самые опытные галеристы делают что-то неуловимое правой бровью, и хозяин объявляет новую ставку, а некоторые хмурятся или скребут ногтем подбородок. Эту науку я хотел бы освоить, хотя покупатель из меня все равно не получится. Продавец тоже получился так себе, если учесть, по какой дешевке я сбыл наследство своей сестры.

Зато я освоил другую науку – как разговаривать с женщинами. Ты просто слушаешь их, пока они не замолчат. Когда женщине дали сказать все, что она хотела, она становится гладкой, неподвижной и издает мелодичные звуки, как тот дюгонь, которого я видел в клайпедском океанариуме. Это я теперь знаю, а когда я лежал возле Зое в гостиничном номере, я был растерян и говорил без передышки, до самого утра, покуда зимний парк стягивал вокруг нас свои войска, будто Бирнамский лес.

Тетка велела рассказать ей все, что я хотел бы ей рассказать. Можем больше не увидеться, сказала она, так что давай. Но у меня челюсти свело, когда я попробовал. Я украл у тебя тавромахию, хотел я сказать, но тоже не смог. Украл, увез в Вильнюс и спрятал в сарае, в куче железной стружки. Античная пряжка показалась мне совершенной. Два черненых быка на синей эмали. Двое алых микенских юношей, прыгающих через покатые спины. Золоченый закат, одичалая перламутровая тишина.

Это было на четвертый день в Лиссабоне, я успел немного осмотреться в доме и здорово обрадовался, когда все отправились на вершину холма и оставили меня одного. Я сразу пошел в хозяйскую спальню, открыл замок секретера шпилькой и стал выдвигать ящички один за другим. Увидев свое отражение в зеркале – белая рубашка, капельки пота над верхней губой, – я пришел в восторг. Вылитый проворовавшийся дворецкий!

Из одного ящика пахло канареечным семенем, наверное, прежняя хозяйка держала в нем корм для птиц, теперь там лежали письма в конвертах с марками (я углядел там знакомые *Republica Portuguesa* по пятнадцать сентаво). Хорошенько пошарив по дну, я вытащил маленькую пластинку слоновой кости, повертел ее в руках и хотел было положить обратно, но услышал голоса и собачий лай на лестнице, передумал и сунул в карман рубашки. Весь вечер я придерживал этот карман рукой, и тетка спросила, не болит ли у меня сердце.

У меня никогда не было ничего своего, ничего совершенного, ничего тайного и ничего по-настоящему старого. Вещи, которыми был наполнен наш дом, были сделаны из светлого дерева, алюминия и пластика. Мать считала, что старинное барахло прячет в себе чужое горе, она даже семейные альбомы снесла на блошинный рынок. Однажды я поймал себя на том, что забыл лицо двоюродного деда Кайриса, того, что оставил мне хутор. Пришлось сходить на кладбище и посмотреть на гранитную плиту с фотографией. Иногда, думая об умерших, я слышу какое-то пощелкивание, похожее на морзянку, слабое одиночное эхо, плеск обогнувшей земной шар радиоволны. Но чаще ничего не слышу.

Я привез тавромахию в Вильнюс и спрятал в сарае, подальше от материнских глаз, я был уверен, что она древнее древнего, вроде тех диптихов из слоновой кости, которые я видел в часовне святой Анны. Когда спустя много лет я показал ее антиквару, покупавшему у меня столовое серебро, тот только языком причмокнул:

– Ай, красота! Представляю, как это выглядело на переплете из белой замши! А где вторая половинка?

– А должна быть вторая?

– Разумеется, это же одна из двух деталей переплета. Видишь щиток с пружиной? Это место, где они соединялись. Вот будь у тебя обе пластинки, я дал бы серьезную цену!

– А так дадите смешную? Просто спрашиваю, продавать я не намерен.

– На золотые горы не рассчитывай, эта штука ведь не с Евангелия Теодолинды оторвана! Лучше поищи вторую часть там, где ты нашел первую. Выставим диптих на аукцион и неплохо заработаем. Не меньше тридцати штук, за вычетом моих комиссионных.

Это был тот самый антиквар, который прозвал спальню Лидии комнатой духов, заглянув туда из любопытства, пока я готовил нам выпивку. Все три стены там были завешаны портретами предков Брага, а четвертая занята зеркалом, покрытым зеленоватой пылью. Я сносил туда все, что не мог продать. Сначала вешал картины на свободное место, потом стал ставить на пол, все равно эта комната была нежилой, а мне эти старики в судейских шапочках и вояки с орденскими лентами действовали на нервы. Женских портретов было меньше, дамы тоже глядели надменно, но они были молодыми и пышнотелыми, поэтому я быстро нашел на них покупателя. Соблазнившись барочными рамами, их купил оптом владелец непотребного дома в Грасе.

* * *

Пруэнса вызвал меня сразу после обеда, я даже хлеб не успел дожевать и сунул лопот в карман. Свежий хлеб здесь редкость, зато сухарей дают сколько хочешь.

– Вы довольны тем, как мы исполнили вашу просьбу, Кайрис? – спросил он, когда меня ввели в кабинет, где было почему-то холоднее, чем в моей камере. Следователь сидел за столом нахохлившись, на плечах у него висело пальто в елочку, на руках были рыжие перчатки.

– Спасибо, компьютер мне очень нужен. Только зачем вы его выпотрошили? Я ведь говорил, что хочу показать вам видеозапись, которая доказывает, что я не лгу. Убийца ниже меня на голову!

– Так положено. Но перед этим я сам проверил ваш компьютер. Ни убийцы, ни жертвы, ни Параи Noel с мешком там не было, как не было и самой записи, о которой вы трещите, будто дрозд.

– Конечно же, были! Зачем, по-вашему, в моем доме вся эта электронная требуха?

– Вот именно, зачем? – вяло спросил Пруэнса, теребя перчатку, и я понял, что разговора не будет. Перчатки у него каждый день разные, они напоминают мне двадцать пар лимонных перчаток, которые Бальзак выпрашивал у своей матери, но, кажется, так и не получил. Настроение следователя тоже бывает разным, иногда я и слова сказать не успеваю, как меня отправляют в камеру. Вот как сегодня, например.

Вечер в камере наступает мгновенно, потому что лампочка здесь на двадцать ватт и висит высоко под потолком. Я лежу на скамье и думаю, о чем говорить на следующем допросе. Окажись у меня эта запись, я отдышался бы, как водолаз, вовремя распутавший воздушный шланг. Но записи нет, и придется выпутываться как бог на душу положит. В тот вечер меня видели люди на пляже, их можно разыскать. Я могу сообщить следствию имя и адрес женщины, заказавшей мне съемку. Ее зовут Додо, фамилию не знаю, у нее есть коттедж на побережье. Звучит как бормотание идиота.

Ладно, алиби у меня нет, видеозаписи нет, и мне нечего показать, кроме пятен плохо замытой крови на полу спальни. Зато у меня есть программа Word, и я получил возможность писать тебе, Хани, не думая о том, что бумага кончается, а карандаш, украденный у следователя, вот-вот выронит остаток грифеля. Наверное, я всегда хотел написать тебе. Мои прежние попытки вести дневник выглядят отсюда так трогательно и несообразно, другое дело теперь, когда я чувствую себя чуть ли не заключенным Редингской тюрьмы. А что, вид у здешних мест вполне подходящий: потолок весь в потеках сажи, двери запираются на сред-

невековые засовы, а в кабинете следователя стоит музейное сокровище, заляпанное кругами от кофейных чашек, голландский дубовый стол с инкрустацией.

Страница сорок девять. Очки хорошо бы помыть, но вечерний охранник забыл принести воду, и я сижу злой, точно пес у пустой миски. Свет уже вырубili после отбоя, но два фонаря в тюремном дворе будут гореть всю ночь. Никогда не думал, что во мне такая пропасть вопросов, на которые нет ответа. Как будто они годами копились на дне аквариума, а теперь разом всплыли и замутили воду рачками и коловратками.

Почему Ли не хватился меня до сих пор? Почему мой школьный друг не ответил на просьбу о помощи? Почему лицо моей бабки было покрыто белым пушком, просвечивавшим на солнце, будто шуба плесени на апельсине? Почему Зое должна была умереть в сорок четыре? Почему я живу так, как будто я умер?

* * *

Не прошло и двух недель со дня моего переезда, как лиссабонский дом начал говорить со мной теткинским голосом. Однажды утром в кладовой взорвалась банка с абрикосовым вареньем, забросав стены желтой мякотью. Собирая осколки, я обнаружил еще две подозрительные банки и решил пустить варенье в дело, пока не поздно. Распечатав первую, я увидел листок картона, вложенный между крышкой и кружком белого пергамента.

Косточка, если ты это нашел, значит, я уже умерла. Когда старую хозяйку похоронили, к нам приходила предсказательница и заявила, что после Лидии в доме умрут еще три человека, и вот Фабиу и я уже умерли! хотя я не слишкомверуюэтим

Последнему слову не хватило бумаги, и оно слиплось в зеленую кляксу, но я разобрал *не слишком верю* и улыбнулся. В этом была вся тетка: она бы в жизни не призналась, что поворачивает назад, потому что увидела на дороге черную кошку. Наверное, она писала эти записки до того, как наткнулась в каком-то углу дома на диктофон и решила оставить мне послание, произнесенное вслух, как на армейской пластинке. Банка с номером три оказалась пустой. То есть варенье в ней было, а записки не было.

Золотистые дирижабли крыжовника ровно висели в прозрачной гуще: я представил себе, как Зое сидит за столом и обрезает ягодам хвостики маникюрными ножницами. Я не верил, что она умрет в собственной постели, я, скорее, поверил бы, что она разобьется, свалившись с полки, как фарфоровая балерина фабрики “Валлендорф”, слетевшая с нашего серванта, когда ветром разбило окно в гостиной. Зое всегда казалась мне ломкой, непрочной, а еще вернее – ненадежной, несмотря на низкий повелительный голос, устойчивую походку и быстрые шаги длиной в локоть, как у белого ибиса.

Не помню, писал ли я тебе, что так и не смог отвезти ее прах на кладбище. Сначала я собирался сделать это, как только появятся деньги, чтобы заплатить за нишу в стене. Тяжелую резную урну, которую мне выдали в сгематогio, я засунул в шляпную коробку и задвинул в дальний угол гардероба. Когда деньги появились, я собрался было ехать к похоронщику, но понял, что откладываю этот день, пользуясь любым предлогом, вплоть до плохой погоды. Короче, урна осталась в доме, она и теперь там стоит, прямо как в книге Марко Поло. Местные жители, писал он (не помню о какой стране), держат покойника в доме, пока колдун не скажет им, что можно сжигать. Мертвец лежит в красиво расписанном ящике, под тканями, надушенными камфарой и пряностями.

Когда-то давно мне попала на глаза старинная книжка о разбойниках в итальянских лесах, нападавших на купеческие караваны: они держали проволоку натянутой поперек дороги, чтобы железные колокольчики звенели, как только ловушки коснутся лошадиные копыта. Когда я нашел диктофон и принялся слушать задыхающийся теткин голос, мне показалось, что я задел проволоку в таком вот лесу где-нибудь под Порталегре и стою теперь

на тропе в ожидании минуты, когда с ветвей придорожного дуба с воплями посыплется вся беспощадная рать. Страшновато, но убежать не хочется.

Да и не вышло бы, как потом оказалось.

* * *

Сегодня меня вышвырнули из камеры, чтобы произвести положенную уборку, как выразился охранник Редька. Эти полчаса я провел на корточках в углу коридора, прислушиваясь к шумам на первом этаже и представляя себе арестантов, проходящих туда и обратно, неловко держащих скованные руки за спиной. Мне наручников больше не надевали, но я-то сижу на втором этаже, а все остальные, судя по всему, на первом. Может быть, у них там наручники в ходу, а также ведьмины стулья и нюрнбергские девы.

Сидя в углу коридора, я думал только об одном: Господи, сделай так, чтобы мой компьютер уцелел, не был ни сломан, ни украден, чтобы его не уронили, не проткнули плазменный зрачок, не просыпали кириллицу. Вернувшись в камеру, я бросился к нему, а он радостно лег у моих ног. Я собрался было зарядить батарею, но куда там! Вилка больше не входила в розетку. Во время уборки кто-то сунул туда две обломанные спички, да так глубоко, что выцарапать их невозможно. Заканчиваю эту страницу, поглядывая на значок в верхнем углу, электричества осталось на десять минут.

Какого черта я здесь делаю? Знаешь, Ханна, когда я создал новый файл и назвал его *honey.doc*, мне и в голову не могло прийти, что за восемь тюремных дней я напишу такую прорву страниц. Что между мной и этим текстом натянется жила, подобная той, которой создатель мира, если верить индейцам майду, привязал землю веревками к востоку и западу. Веревки напряглись, но выдержали, поэтому земля теперь не колеблется.

Ночью за окном слышались крики и надрывалась полицейская сирена. Я даже подумал, не начался ли тюремный бунт, но потом разобрал, что шум доносится с улицы, а в самом здании темно и глухо, как обычно. Вопить перестали часам к трем утра, но заснуть я уже не смог – я вспомнил футбольную драку за доками, после игры лиссабонцев с “Порту”. Дрались под портовым фонарем, и я видел их в пятне света, как будто в луче стадионного прожектора. Кажется, это было в две тысячи пятом, “Бенфика” выиграла национальный чемпионат, я даже разглядел шарфы дерущихся: красное на белом и синее на белом.

Драка была тихой, сосредоточенной, почти беззвучной, я видел, как чье-то скомканное тело вывалилось из толпы, его отодвинули к стене доков, чтобы не затоптать, потом вдалеке послышалась сирена, и люди разошлись тихо и ловко, будто и не было никого. Когда парень, оставленный у стены, стал подниматься, я услышал его стон, прерываемый паузами, будто плеск воды у причала. Парень немного постоял, держась за стену, потом лег на землю и пополз через дорогу к моему парадному, за ним тянулся темный след, как за улиткой, он выбрал мою дверь, до кафе “Канто” ему было дальше ползти.

Я вернулся в гостиную и выключил свет. Снизу доносился негромкий стук, парень колотил рукой в нижнюю часть двери, обитую медным листом. Я слышал его кашель там, внизу, а может, мне казалось, что слышу, я пошел в ванную, пустил воду из обоих кранов и стал бриться. Брился я долго и выбрил щеки так гладко, что кожа порозовела, потом я плеснул в лицо лосьоном и пошел спать.

Какого черта я здесь делаю? Нет, на этом вопросе зависать нельзя. Глупо мучить себя вопросом, на который не хочешь знать ответа. Когда я пытаюсь сосредоточиться на причине ареста, то чувствую себя как человек, попавший в зыбучие пески. Я читал, что в зыбучем песке не так легко утонуть, как об этом говорят, и никого он в себя не затягивает. Плотность песка выше плотности тела, значит, погрузиться в него полностью можно, только сильно

и долго барахтаясь, а если вести себя спокойно, то уйдешь только по пояс. Так и будешь торчать, будто надгробие самому себе.

Примерно так я себя и чувствую: плотность этой истории каким-то непонятным образом выше моей плотности, и стоит мне чуть-чуть пошевелиться, как я попадаю в другой слой, на несколько футов ниже, и все становится еще более зыбким. Какого черта я пишу эти письма? Ненавижу эту тюрьму, ненавижу вонючую дыру в сортире, над которой когда-то стояла фаянсовая чаша, а теперь только винты с резьбой торчат, и приходится садиться на корточки, будто тебе девять лет и ты зависишь над выгребной ямой в звенящей от мух уборной школьного лагеря.

Нет, так не годится. Я должен спокойно размышлять. Составить список необходимых действий и осторожно выполнять одно за другим. Начнем с того, что я расскажу Пруэнсе все сначала, заставлю его выслушать всю историю целиком. А потом можно действовать: отвезу его в коттедж Додо, это раз, помогу следствию найти мадьяра и чистильщика, это два, потребую приличного адвоката, это три.

нокакогочертакакогочертакакогочертакакогочерта

Глава вторая

Зое

Нынче служанка приволокла корзину калабрийского лука, сладкого, как яблоки, и чистит его на кухне, включив радио на полную мощность. Я заперла свою дверь, встала перед зеркалом и смотрю на свое тело, похожее на лессировки сиенской школы – зеленые тени на розовом. Знаешь ли ты, что философ Хрисипп умер от смеха, наблюдая, как его пьяный осел пытается есть инжир? Я тоже умираю от смеха, милый, смеюсь каждый день, каждую ночь, стоит мне вспомнить, на что я угробила свои сорок четыре года, и тебе придется потерпеть этот смех, раз уж я раздобыла диктофон.

Когда в ту ночь я пришла к тебе в комнату в пальто твоей матери, ты сразу сбросил простыню, как будто приглашая посмотреть на твое изменившееся тело – мы не виделись несколько лет, оно и вправду изменилось! Ты потерял пушок, но он еще не сменился щетиной, ты был не мальчиком и не мужем, не куросом и не зверем, и когда ты задирали мне рубашку и разглядывал мои шрамы, я не чувствовала того, что должна была. Ты был как будто воронкой, куда стягивалось все: и лиссабонские стены, которые я выстроила для тебя со всеми мостами и башнями, и река Тежу, которую я выдернула для тебя из маленького заросшего мхом болотца где-то в долине, и твоя мать, которую я заставила себя полюбить, и этот дом с гофрированной крышей, откуда меня однажды выгнали и я ушла с зажатой в руке украденной четвертной бумажкой – все это, знаешь ли, было чересчур. В тебе было слишком много от меня, поэтому я не смогла раздвинуть ноги – впустить тебя означало бы впустить все это, а во мне уже не было места для прошлого, для ammonites, золотых улиток и перламутровых раковин. Так что ты не думай, Косточка, что я тебя не хотела. Я, может, только тебя-то и хотела, а всех остальных просто переживала, как переживают инфлюэнцу или внезапный шторм в Эшториле.

Я лежала в твоей узкой постели, понимая что мучаю тебя, что мое тело не просто женский запах, и женский пот, и женская гладкость (хотя какая там гладкость после химии, струппа, кокосовый войлок), что оно означает переход, который тебе давно пора совершить, но я не хотела оставаться женщиной, которая убила куроса и породила зверя. Да нет, что я вру. Дело не в этом, разумеется. Я просто знала, что ничего не почувствую, и не хотела, чтобы это *ничего* оставалось между нами. Я знала, что ты самое веселое событие последних лет моей жизни (боже, звучит угрюмо, как Четвертая симфония Сибелиуса, которую передают сейчас по радио), а значит, это событие должно длиться и не завершаться, и пока оно длится, я не умру. Одним словом, в то утро ты не расстался со своей невинностью лишь потому, что я не хотела соскучиться перед смертью. Слышишь это карканье? Это мы с Сибелиусом смеемся, *tempo molto moderato, quasi adagio*.

Костас

– Если угол обзора камеры составляет четырнадцать градусов, – объяснял мне Лютас, – то камера не видит всю комнату, а видит только входную дверь. Зато можно рассмотреть мельчайшие детали, вплоть до пуговиц у тех, кто входит в комнату. Но нас не это интересует, поэтому угол обзора должен быть сто четыре градуса.

Я кивнул, вынимая из коробки куски пенопласта. Камеры были маленькими, похожими на нахохленных совиных птенцов, каждая в своем гнезде. Угол обзора, надо же. Никогда бы

не подумал, что он вообразит себя режиссером, откроет свою контору и станет снимать на заказ кино с малолетками. Еще сложнее было поверить, что он решил изменить историю мирового кино, переплюнуть Кассаветиса и у него уже написан сценарий. Скорее, я поверил бы в то, что он водит литовских туристов по ледникам Перито-Морено. Это было бы в духе Лютаса: соединить несбыточную мечту и способ зарабатывать себе на жизнь.

Мой друг посмотрел на меня с сомнением, когда я взялся за провода, но потом кивнул и пошел на первый этаж за катушками. Мне приходилось заниматься подобной работой, когда мой бывший шеф решил экономить на зарплате техника. Я научился сам устанавливать барахло, которое мы продавали, так и ездил по клиентам – на велосипеде, в голубом комбинезоне, с коробкой, привязанной к багажнику. А что мне было делать? Года два я напрасно рассылал свои резюме по лиссабонским гимназиям, пока не получил предложение от человека по имени Душан прямо у себя во дворе.

Я часто встречал его возле табачных доков, где он парковал свой зеленый Kawasaki. Его фирма занимала первый этаж соседнего дома, сплошь затянутого сеткой, похожей на защитную маску гигантского пасечника. Душан продавал охранные системы, на дверях его конторы было написано *Em boas mãos*, что означает “в хороших руках”. Мы познакомились с ним в начале марта, когда я вытащил во двор сушилку с покрывалом, с которого еще капала вода. Сушилка норовила сложиться пополам, и Душан, стоявший на крыльце с сигаретой, подошел ко мне, чтобы помочь.

– Ты тот парень, что получил дом в наследство? У тебя же вроде терраса есть, – сказал он неразборчиво, загнав сигарету в угол рта.

– На террасе солнце только до полудня, – ответил я. – А что это у тебя за акцент такой, сербский или хорватский?

Ответа на свой вопрос я так и не получил, зато на следующий день получил записку на фирменном бланке, записку положили в почтовый ящик, я чуть было не выбросил ее вместе с рекламой. Приходи, мне нужен помощник, говорилось в записке, зарплата маленькая, зато диплом можешь не показывать. Через год муниципалитет спохватился, и в доме начались ремонтные работы, так что мы с Душаном переехали, а заодно наняли секретаршу, бывшую Мисс Сетубал, без рекомендаций.

Ладно, я снова отвлекся, давай вернемся к той осени, когда я видел Лютаса в последний раз. По вечерам мы много пили и говорили о фильме, я был чертовски рад, что мы с домом понадобились для его проекта, суть которого я только начинал понимать. Два дня ушло на возню с проводами, я ходил за Лютасом по комнатам с коробками в руках и морщился от треска разрываемого пенопласта. Я ни слова не сказал, когда он стукнул молотком по долоту и с потолка обвалился огромный пласт штукатурки, унося с собой горсть шелковичных ягод из орнамента.

Гипсовая шелковица рухнула в конце ноября, а в декабре Лютас съехал, не оставив даже записки. Сначала я думал, что он отправился за оператором или его внезапно вызвали заказчики, но потом понял, что кино здесь ни при чем. Он обиделся на мой вопрос о пропавшей тавромахии. Глупо губить такой проект из-за мелкой обиды, но он, похоже, рассудил иначе – просто взял и передумал иметь со мной дело.

Однажды утром, заметив, что вещица, которая всегда лежала на столе, куда-то исчезла, я принялся открывать ящики, битый час провозился, но так и не смог отыскать. Служанка только рукой махнула, она даже пыль на моем столе не вытирает, и я постучался к Лютасу, который раньше полудня не вставал. Я спросил, не он ли случайно прибрал моих быков, в качестве реквизита, например, или просто на память. Не знаю, что на него нашло, вопрос был довольно учтивым, но он залился румянцем и попросил оставить его в покое.

Может статься, он принял мой вопрос за ритуальные *яйца попугая*? Я где-то читал, что дагомейские негры посылали такие своему королю, когда хотели показать свое недо-

вольство. Яйца означали, что правление короля всем опостылело и ему пора пойти в свои покои и удавиться. Так или иначе, на следующее утро мой друг уехал, на удивление быстро собравшись, пока я ходил в бакалейную лавку на rua Зомбар.

Надо признаться, я довольно долго ждал, что Лютас вернется. Хотя бы для того, чтобы забрать свою систему, которой он так дорожил. Но он не вернулся. Махнул рукой на камеры, с которыми провозился целую неделю, и на свой режиссерский триумф, и на меня.

Сегодня гроза была такой сухой и близкой, что я долго не мог заснуть, даже дождь, который все-таки застучал по карнизу после полуночи, показался мне сухим, будто пересыпание семян в перуанских сушеных тыквах. Они так и называются *шум дождя*. Когда-то, в благословенные времена Душановой конторы, уборщица-индианка подарила мне несколько штук. Имя индианки было непроизносимым, и, послушав ее рассказы про цветущий имбирь, голубоногих олуш и белощекую шилохвость, я стал звать ее Олуша. Наверное, на кечуа это звучало щекотно, потому что она все время хихикала. Ноги у нее и вправду отливали голубым, бывает такой редкий тип смуглоты, от нее веет прохладой. Ума не приложу, куда эти тыквы завалились. В моем доме все куда-то деваается само собой. В моем бывшем доме.

* * *

Воспоминания, сказал Лилиенталь, существуют лишь для театральных старух и авторов книг о золотой эпохе. В тот день мы лежали полуголые на гранитном полу, передавая друг другу трубку и радуясь тому, что через пару часов опустятся сумерки. С балкона струилась жара, полуденный свет стоял в полотняных занавесках, будто парусник, застигнутый зыбью.

– Трахаться без любви страшнее гепатита, – сказал Ли, глядя в потолок. – Если представить соитие без любви как тяжелую ртутную каплю, то в мире идет сплошной беспросветный ртутный дождь. Но еще хуже – принимать всерьез свои воспоминания. Человек мыслящий проходит по протяженности минуты будто по веревочному мосту: осторожно, бочком, шупая босой ногой подгнившие доски перекладин. И ничего не помнит!

Похоже, я и есть театральная старуха, потому что теперь, когда лиссабонская свобода показала мне кукиш, а утехи остались за дверью камеры, я живу здесь одними воспоминаниями. Только ими и спасаюсь, иначе давно разбил бы себе голову о стену с нарисованным бананом. На каторжных работах у меня не будет программы Word, полагаю, что не будет даже карандашей, поэтому надо спешить. Я пишу с полудня и до отбоя, изредка прерываясь на бесполезную перепалку с Пруэнсой. Он смотрит в досье, мусолит его серые шнурки, пьет чай и отчаянно скучает. Когда я учился в шестом классе, нас повели на спектакль по пьесе Метерлинка, и там я чувствовал себя похожим образом, потому что не верил ни одному слову, доносящемуся со сцены. Душа хлеба? Душа сахара? Душа не у всех людей есть, чего уж говорить о домашних вещах и птицах.

Однажды я сам взялся писать пьесу, но затосковал и бросил, потом принялся за роман, но все кончилось первой главой. В моей жизни все так или иначе кончалось первой главой: университет, женщины, даже попытка перестать быть нищим чужеземцем. Единственное, что кончилось, даже не начавшись, это моя жизнь на склоне вулкана Чико, но ведь это было так – морок, *alucinación*. Зато теперь у меня жесткая, необыкновенная жизнь, пробудившая все рудиментарные умения, вплоть до умения стирать трусы в холодной воде.

Я хорошо изучил тюремный двор, а также соседний переулок, несмотря на то что приходится висеть на руках, обдирая пальцы о шершавые кирпичи. Я мог бы нарисовать ребристый желудь пожарного гидранта, торчащий из земли, возле него я однажды увидел жильца с авоськой, из которой торчали клешни лобстеров, и так страстно ему позавидовал, что, кажется, кинь он мне одного, поймал бы на лету, будто дворовый кот, и слопал бы сырым.

Первую неделю я думал, что гуляю один, но потом заметил охранника, стоящего с другой стороны двери с *Gazeta Esportiva* в руках, он был похож на няньку в скверике, терпеливо ждущую, пока наиграется дитя.

На стене нет ни зубцов, ни битого стекла, ни колючей проволоки, похоже, она устроена на манер стены греческого монастыря: последний метр кладки не связан раствором, камни просто положены один на другой. Полезешь наверх, возьмешься рукой за край, и весь ряд рассыплется с треском, будто косточки домино, а ты полетишь обратно в тюремный двор. Будь у меня побольше куража, я бы рискнул попробовать, вопрос в другом – ну, перелез я через стену и успешно сделал ноги, а куда потом? Альфамский дом опечатан, а в вильнюсском доме живет моя мать, похожая на тюремного охранника. Подайся я в Шиаду, тоже неизвестно, что будет: Ли может обрадоваться и выдать мне тяжелую связку ключей, а может и двери не открыть. Видишь ли, пако, скажет он со своей любезной улыбкой, с тобой в последнее время слишком много хлопот.

* * *

Сегодня видел во сне трехногую собаку Руди. Я обнаружил ее в тот день, когда сожгли мою тетку. Собака лежала в спальне на куске овчины и смотрела на меня с удивлением. Кудлатая, с желтыми подпалинами, она была похожа на клок грязной пены из великанского таза со стиркой.

– Не бойся, – сказал я, потрепав лысоватое ухо, – я за тобой пригляжу.

Руди вставала по ночам и бродила по дому, стуча отросшими когтями, которые я боялся подстригать, шерсть у нее свалилась, живот разбух и свисал до полу. В феврале она перестала вставать, и я перенес ее на кухню вместе с овчиной, с которой она сползала, только чтобы попить молока. Однажды, спустившись в темноте за спичками, я споткнулся о Руди, спящую у порога в собственной луже, полетел на пол со всего размаху и расшиб себе лоб до крови. Утром я завернул ее в полотенце, положил в теннисную сумку и отвез к ветеринару. С тех пор как Руди не стало, я заметил, что дом изменился, насупился, в нем поселилась какая-то окончательная тишина. Как будто собака была последней ниточкой, ведущей к семье Брага, и я ее перерезал.

Я тоже здорово изменился с тартуских времен, попадись я тебе на улице теперь, ты бы меня не узнала. Длинных волос и в помине нет, я начисто брею голову, зимой повязываю шарф, заменяющий мне пальто, а летом ношу льняные штаны и шлепанцы на босу ногу. Оранжевый городской загар и цирюльник с руа Бартоломе сделали свое дело: я выгляжу как лиссабонец, только ростом повыше обычного.

Я и хочу быть лиссабонцем. Я их всех люблю, особенно стариков. Лиссабонские старики – неприступные, тихие, пепельные – стоят у дверей забегаловок со своими стаканами, а мы с Лилиенталем весь день таскаемся из одного кафе в другое, и нищие таскаются за нами следом, мы так много пьем и говорим о прошлом, что добрались уже до мезозоя. Венецианцы называли *погоней за тенью* манеру переходить от столика к столику в кафе так ловко, чтобы все время избегать солнца, мне же хочется переходить от одного дня к другому, не теряя безмятежности, пропуская людей сквозь себя без лишних затей и смыслов, да куда там! В этом городе даже переход из света в тень такой болезненный, что теряешь дыхание, свет лежит толстыми слоями на мостовой, сияет в стаканах у дорожных рабочих, горячий свет повсюду.

Сегодня весь день думаю о Лилиентале. О его тяжелых костылях с кожаными набалдашниками, усыпанными мелкими золотыми гвоздиками. Как он только с ними ходит? Ему нравятся странные старинные вещи, как и мне. В прошлом году он подарил мне колоколь-

чики бадага: связку железных бубенцов в форме орехов и зерен, издающих особое дребезжанье и лязганье.

– Я привез их из Южной Индии, – сказал он, укрепляя связку на гвозде в прихожей, – из Нилгирийских гор. Вот где славные люди живут: женятся на целой толпе татуированных девок, едят крапиву и чтят предков. Бубенцы я выменял у жреца, который ходит в них по горячей золе, вернее, ходил, пока я не дал ему за них свои часы и пачку снотворного. Подует ветер, и они разгонят всех демонов в округе!

Я думаю о нем, как думают о тех, кто ушел, хотя он здесь, в нескольких кварталах от калсады дос Барбадиньос, передвигается по своим канатам, как лиссабонский трамвай по склону холма. Однажды, явившись к нему с утра, я увидел, что на канатах сушатся сморщенные синие двадцатки, а Ли снимает их по одной и проглаживает утюгом, стоя на полу на четвереньках.

– Помоги-ка мне высушить бельишко, – сказал он весело. – Я вчера напился за картами и всю ночь провалялся под дождем, забыл, что на моей жестянке не стоит спускаться с крутого холма. Заметь, что меня не ограбили, пако. Это потому, что деньги я выиграл, а выигранное – все равно что краденое!

* * *

Тавромахию я так и не нашел. Помню, что сам положил ее в укромное место, но что это за место, не вспомню уже никогда. Странное название у этой пластинки: битва с быком, хотя нарисованы там голые парни, прыгающие через воловью спину. Еще бывают наумахии, этих я видел не меньше десятка. Неважно, взаправду они там воевали или нет, корабли все же сгорали дотла, а гребцы тонули на самом деле. Если верить Лампридию, то некоторые тонули в озерах, наполненных розовым вином.

Все могло сложиться по-другому, не спроси я Лютаса о пропавшем амулете. Он снял бы свой таинственный фильм, и я стал бы его соавтором, или одним из актеров, или хотя бы ответственным за реквизит.

– Думаю, мы готовы начинать, – сказал он, когда мы ужинали в последний раз. – На той неделе привезу оператора, покажем ему павильон. Ты не против, если он здесь поживет?

– Да пусть живет. А зачем тебе оператор? Я думал, съемка будет скрытая, как у Майка Бонайфера.

Лютас снисходительно улыбнулся, допил вино и пошел наверх, прихватив по дороге яблоко со стола. Он всегда любил яблоки, в школьной столовой я отдавал ему свои. Еще он любил звонить *на перемену* – электрического звонка в школе не было, и каждый день завуч вызывал кого-нибудь из младших классов и вручал ему колокольчик с деревянной ручкой. Здесь, в тюрьме, я каждое утро прислушиваюсь к жестяному звону тележки, на которой развозят чай и сухари.

Судя по звукам, доносящимся из коридора, половина камер на этом этаже пустуют. А может, и все пустуют. Сухари и чай, чай и сухари. Ничего, говорю я себе, привыкай. Следующая остановка – это старая посуда «Серендипити», где мне позволяют, вероятно, поработать за проезд (*работатзажрат*, как говорил Душан, разбирая счета в конторе). На посудине я отправлюсь на остров Исабель, стану там галапагосским клошаром. Оказаться бы сейчас на палубе или даже в машинном отделении, все равно, лишь бы двигаться вперед и глотать соленый воздух.

Знаешь, кому я всегда завидовал, проходя мимо тартуского моста Каарсилд по дороге в общежитие? Тому старику, что жил на лодке, на списанном белом катере, чуть ли не с войны стоявшем на стапелях, у самой воды, – помнишь его? Катер покрылся таким слоем ржавчины, что, казалось, прирос к стапелям, но старику все было нипочем, он заваривал

кофе на примусе, ловил рыбу, сидя на носу, и жмурился при этом, будто его обдувало речным ветерком. Ты говорила мне, что это местный сумасшедший Пунта, его, мол, все знают, и на зиму его забирают в больницу, чтобы не замерз в своей жестянке, а я думаю, что это был бог из машины. Мой собственный.

Однажды поздней осенью я долго смотрел на него, стоя на мосту, представляя такую же лодку на пустынном берегу Исабели и катая в пальцах крепкие, топорщащиеся слова: перебрать дизель, отрегулировать гребные винты, законопатить щели, отшлифовать пол, покрасить камбуз. Ничего из перечисленного я бы сделать не сумел, но ведь и Пунта этого не делал, а как ему было хорошо. Это было незадолго до начала зимней сессии, и я уже знал, что второго семестра мне не видать, как примерзшему к сваям катеру не видать вилхвостых рыбок в заливе Петра Великого. В тот день я понял, что не хочу быть историком. Вообще не хочу учиться, ни одного дня.

И – хоп! – не прошло и двух месяцев, как мои боги меня услышали.

* * *

На допрос уже три дня не вызывали, и я скучаю по человеческой речи. Пытался сегодня написать следователю письмо о той ночи в Капарике, но не нашел ответа на главный вопрос. Почему я поехал домой, вместо того чтобы позвонить в полицию и придумать убедительную версию происходящего? Помню, как стоял на шоссе, держа сумку над головой, но дождь лил не с небес на землю, а как-то наискосок, так что я мгновенно вымок до нитки. На другой стороне дороги медленно вращалась рекламная банка сардин, я смотрел на нее какое-то время и внезапно понял, что мне напоминает фамилия стюардессы: Гомеш. Так звали шуку в ресторанном аквариуме!

Лет шесть тому назад мы с Душаном зашли в кабачок на площади России, чтобы отметить сделку, посреди зала там стоял стеклянный куб, где плавали мурены, скаты и всякая мелочь. Душан так долго изгибал руку и шарил сачком по дну, что я вспомнил автомат с призами в кинотеатре “Пяргале”, где часами просаживал монетки, полученные на кино. Когтистая лапа в этом автомате была устроена таким манером, что, зацепив добычу, она доносила ее до половины пути, внезапно слабела и медленно разжималась. Выждав положенное время, официантка взяла сачок из рук Душана, подцепила омара и выдернула его, темно-розового, размахивающего клешнями, как будто заходящегося в немом крике. Омара бросили в медный таз и понесли на кухню, а я стал выбирать себе ужин, разглядывая рыб на фоне сагиттарий.

– Мы даем им имена, – сказала девица за моей спиной, – не всем, конечно, только старожилам. Вот эту, например, зовут Диогу Гомеш, в честь мореплавателя, она здесь уже два года.

– Неужели людям приятно жарить и съесть того, кого они знают по имени?

– Большинству клиентов это кажется забавным. Но вы же понимаете, когда рыбка выбрана, ее несут на кухню и пускают там поплавать в тазу, а клиенту подают другую, из запасов ресторана.

Я наклонился к ней и почувствовал запах духов, которыми она протирала ладони, чтобы отбить рыбную вонь: душистый люпиновый запах, наполнивший мое сердце состраданием.

– А почему вы мне это рассказываете? Разве я не такой же клиент, как все?

Сказав это, я надеялся услышать что-то вроде: нет, вы особенный, но девица сунула мне в руки сачок, некрасиво сморщила лицо и громко, на весь пустынный зал, сказала:

– А я больше здесь не работаю. Меня уволили. Сегодня последний день!

Не помню, как ее звали, но помню, что мы с Душаном пригласили ее отметить увольнение, крепко напоили, и потом в нашем офисе крепко и весело пахло люпинами.

Смуглая щучка Гомеш. Ну конечно же, думал я, стоя на мокром шоссе № 387, сначала вам приносят стюардессу на серебряном блюде, а потом выясняется, что на руках у вас девица попроще, а ту, что хлестала хвостом в садке, уже выпустили обратно в аквариум. Bom samarada, Костас. Подавальщицы, стюардессы, конторские уборщицы, вот твоя ахейская добыча, вот на что размайорились четырнадцать лет. А тут еще кукольница со своей сестрой – маячат вдали, опустив рыжие кудлатые головы. Эти пойдут отдельной статьей приговора.

Однажды в приступе травяного раскаяния я рассказал о них Лилиенталю, и он утешил меня тем, что вот был же мудрец Кашьяпа, женившийся на двух сестрах сразу, и все у него кончилось довольно хорошо. Но у меня-то кончилось плохо! С тех пор как я ушел с улицы Пилес, толком не попрощавшись, все мои женщины так или иначе оставляли меня одного, как будто чувствовали неладное. Так знающие люди чуют в доме древесную гниль, хотя в комнатах сухо и стены чисты, как топленое молоко. Поворачиваются и уходят, сплунув под ноги продавцу.

Зое

В восемьдесят пятом моя мать приехала к нам с Фабиу, насмерть перепуганная воображаемой слежкой. Она достала путевку в Испанию, отбилась там от группы, села в столице на поезд и добралась в Бадахос, на границу с Португалией. Когда мы приехали туда на своем “рено” без кондиционера, стояла такая жара, что в женщине со свалывшимися волосами, сидящей на вокзальной скамейке, я с трудом узнала свою надменную Лизу. Она просидела там восемь часов, ее платье задубело от пота, а лицо покрылось грязными потеками от туши и слез. Фабиу никогда ее раньше не видел и посмотрел на меня с сочувствием. Мы посадили маму в машину, она легла на заднем сиденье, будто в кинофильме про мафию, и положила на лицо мою косынку.

– Ты говорила, что она сильная и суровая, – сказал муж, поглядывая в зеркальце на шелковый лоскут, вздымающийся от частого дыхания.

– Смирение слабого – бес, смирение сильного – ангел, – ответила я, с трудом переведя строфу на португальский, и он понимающе кивнул.

Мы доехали до мотеля, уложили маму спать, и не успела я приготовить кофе, как Фабиу исчез, оставив нам записку *hasta la tarde* и банкноту в тысячу эскудо. До самого вечера мы сидели с мамой на кровати, лицом к лицу. Раньше мы никогда так не сидели, и я была смущена. Девять лет прошло! Я смутилась даже от того, что увидела, как, выйдя из душа, она вытирает полотенцем свое холодное сытое тело.

Я налила ей вина, она рассказала мне, как храбро покупала билет на вокзале Аточа, глядя в затрепанный разговорник, как оглядывалась на пассажиров в вагоне, представляя, что вон тот, в серой шляпе, сейчас подойдет и властно положит руку ей на плечо. Я слушала ее и спрашивала себя: почему она не приехала повидаться со мной, пока я жила в Вильнюсе? Пока это путешествие в Лапуту могло состояться без волнений и страхов, пока оно могло быть простым перемещением на скором поезде, отходящем с Витебского вокзала в семь часов вечера каждый божий день. Почему, черт бы ее подрал?

В семьдесят шестом она отправила меня к отцу, даже не спросив его разрешения, не написав письма, не послав телеграммы. Это было в июне, вильнюсские улицы были покрыты тополиным пухом, я начала кашлять еще на вокзале, кашляла, когда звонила отцу из автомата, кашляла, когда стояла у него на балконе, дожидаясь, пока он объяснит мое появление своей новой жене, твоей бабушке Йоле. Я смотрела на них через балконное стекло, оно

было чистым, не то что в нашей прежней квартире на Маклина. Наши стекла были мутными, хотя меня заставляли протирать их газетами, смоченными в уксусе, а рамы были покрыты тончайшим несмываемым слоем сажи. Еще я знала стекла нашей веранды в Токсово, все в мелких трещинках, казалось, что смотришь на озеро сквозь рощу извилистых молодых березок.

Я стояла на балконе и смотрела на людей, с которыми мне предстояло жить – может быть, недолго, всего пару недель, до того, как мне дадут комнату в общежитии университета. Думать о том, что будет, если я не сдам экзамены, мне не хотелось. Вернуться в Питер после последнего разговора с мамой было невозможно, я бросила ключи на пол, плакала, топала ногами, я сказала, что никогда не вернусь, даже если она умрет.

Фабиу вернулся к вечеру, нагруженный пакетами, там было платье для мамы, белые лаковые туфли и чулки. Мы прожили в мотеле несколько дней, катались по окрестностям, пили вино на виноградниках, проводили долгие дни на пляже, прячась от ветра в полосатой кабинке. Однажды утром мы встали пораньше, чтобы поехать в город и показать маме Аль-касабу, но она позавтракала, поговорила по телефону и умерла.

Костас

Лодки, прятаящиеся под мостом, выплыли и замелькали оранжевыми огнями, в темноте они казались стаей огарей, опустившихся на воду по дороге в Монголию. Не знаю, чего я ждал, когда набирал номер Додо, с трудом попадая в мокрые кнопки. Додо ответила мгновенно, голос у нее был непривычно ласковым.

– Надеюсь, ты вернулся в коттедж? Ложись спать, утром проснешься и поедешь домой.

– Нет, не вернулся. Кто был этот парень в вязаной шапке? Рассказывай правду. Иначе я еду домой и вызываю копов.

– Ладно. – Она вздохнула. – Это был не муж. Сказать по правде, у меня нет никакого мужа. Туда должны были прийти один политик и его новая подружка, то есть дружок. Мы хотели записать свидание и попросить за молчание денег, тысяч двести. Кто же знал, что начнется стрельба.

– Двести тысяч?

– Для него это небольшой убыток. Мы подсунули ему твой дом как идеальное место для встречи. Для верности нам нужен был третий человек.

– Выходит, ты спала со мной, чтобы я стал третьим человеком?

– Не кричи на меня. Ласло уже вызвал *um limpador*.

– Кого он вызвал?

– Чистильщика! Тут нужен профессионал, ведь если жертва решила не платить, а избавиться от проблемы, то нам всем не поздоровится. А полиция только напортачит. Даже не думай им звонить, мы сами все уладим.

– Зато я не буду замешан в этом *merda*. Сдамся и расскажу все как есть.

– И что ты расскажешь? Что подсматривал за чужим свиданием с целью шантажа? У тебя ничего нет, ни адресов, ни имен. Сиди и не дергайся, говорю тебе. Чистильщик поехал к тебе домой, он уже в дороге, и нам все равно придется ему заплатить, – сказав это, она отключилась.

Некоторое время я стоял там, пытаюсь размышлять, страха во мне не было, так бывает, когда во сне догадываешься, что спишь, и больше ничего не боишься. Еще не поздно найти моего бывшего шефа, одолжить денег и за ночь добраться до немецкого парома в Киле, а там и до Клайпеды рукой подать. Нет, не выйдет, найдут в два счета и еще добавят за попытку удрать. Европа стала просторной свалкой, плоской, будто земля на голове кобры, на ее северной окраине спрятаться так же трудно, как на юго-западной.

Можно еще поехать домой и избавиться от тупа. Я столько раз видел это в кино: футляр для контрабаса, багажник, пропитанный кровью, резиновые перчатки, тьфу, мерзость. Поехать, стиснуть зубы, вытащить тело из дома и оставить на пороге ближайшего госпиталя. И нечего трястись. Ее убили не духи какие-нибудь, не вепрь, выходящий из моря, ее убил коренастый мужичок в вязаной шапке, bang bang, that awful sound.

Как ни крути, мне не удастся вынырнуть из этого дела сухим, думал я, глядя на приближающийся автобус, светлое пятно в пелене дождя. Даже если сумею перенести тело подальше от своего дома, полиция все равно станет искать знакомых убитой и доберется до мадьра, а значит, до стюардессы и до меня. Я поднял руку, желтый автобус остановился, водитель открыл для меня переднюю дверь, я дал ему мокрую пятерку и сел у окна. Хрупкий леденец Додо вмиг раскрошится на ладони следователя. Я знаю, они это умеют. Я сам приемный внук следователя. И родной внук тайшетского заключенного.

* * *

В день теткиных похорон сестра подошла ко мне и попросила позволения пожить в доме до рождения ребенка, но я был настолько ошарашен завещанием, что на слова о ребенке даже внимания не обратил. Сказал, что двух дней с нее хватит. Нет, вру. Ее слова показались мне бессмыслицей, продолжением бедлама: все эти женщины в черном, говорящие на чужом языке, похожем на шипение воздуха, выходящего из дырявого шарика, зеленые графины, в которых колыхались кусочки льда, тяжелый скрип кресла-качалки, в котором с начала поминок, не вставая, сидела сестра Фабиу, и вишневый привкус жинжиньи, поданной почему-то вместо вина. Никто из гостей не горевал по покойнице. Я знаю, как португальцы умеют горевать. Эти люди просто собрались в знакомом доме, чтобы поглазеть на портреты предков и посплетничать о растраченном наследстве.

Проводив нотариуса, я решил открыть балконную дверь, дернул за медную ручку, изображавшую звериную лапу, остался с ней в руке, оступился и чуть не упал. Потом я вышел на лестницу и быстро выкурил две самокрутки подряд. За мной вышел один из двоюродных дядьев, с таким же ртом в ниточку, как у покойного Фабиу:

– Говоришь по-португальски?

– Нет. Может, хочешь дунуть?

– Здесь же похороны, парень. Слушай, мне говорили, что в тебе есть русская кровь.

– Это плохо, что ли? – Я был спокоен и казался себе выше ростом, трава всегда действует на меня одинаково.

– Это странно, парень. Дом принадлежал семье без малого сотню лет, со времен Первой республики, его реставрировал бакалейщик Рикардо Брага, каждую балку самолично проверял, витражи заказывал у церковного стекольщика. А теперь здесь живут русские, и всегда будут жить русские, как сегодня выяснилось.

– Если тебя это так бесит, купи у меня дом. Проверишь балки самолично.

– Я бы купил, – сказал он без улыбки, – да ты, видно, плохо слушал нотариуса. Дом нельзя продать или сдать в аренду. Во-первых, об этом говорится в последней воле покойницы. Во-вторых, дом принадлежит банку “Сантандер”, которому бестолковая gussa умудрилась его заложить. Но жить в нем пока можно, и тебе повезло.

Он похлопал меня по плечу и удалился, а я вернулся в дом, выпил еще, поссорился с сестрой, пошел к себе, упал поперек кровати и заснул. Утром оказалось, что, проводив гостей, сестра собрала свои вещи и исчезла, не оставив даже записки.

Когда через три года она приехала погостить, от прежней Агне остались только веснушки, потемневшие, как старое золото. Все остальное было новым – и гудящий смех, и яркий, неотступный взгляд. Я поверить не мог, что шестнадцать лет назад назначал ей свидан

ния под сводами коврового шалаша. Ее манера обниматься с утра до вечера действовала мне на нервы, но мое тело отзывалось на ее прикосновения с глупым гальваническим упорством. Байша сестру вообще не замечала, огибая ее, как прозорливый капитан ледяную глыбу. Причину этой вражды я не знаю до сих пор.

На четвертый день Агне подошла ко мне с улыбкой и попросила поискать у нее в голове. Я так растерялся, что только кивнул, а она распустила свою косичку и села ко мне спиной, непринужденно, на пятки, будто на чайной церемонии. Последний раз меня просили о чем-то подобном лет двадцать тому назад, в тот день, когда умерла Йоле и мать велела мне расплести бабушкину косу. Коса была на ощупь будто войлочная, детское страшное слово *колтун* душило меня, я завыл и выбежал из комнаты, заполненной горячим стеариновым воздухом.

Агне терпеливо ждала, и я запустил было руки в ее волосы, но услышал тихое кошачье фырканье, а потом и смех.

– Я пошутила, братик! Просто ты от меня шарахаешься, будто у меня вошки в голове. Пожил бы в наших краях, привык бы и не к такому. Иногда воды не бывает неделями, а народ вокруг разный, вот и приходится полагаться на друзей.

Как ни странно, после этого эпизода в доме стало спокойнее, как будто, подставив мне голову, Агне заново очертила границы, восстанавливая нашу прежнюю связь: не то чтобы родственную, но и не любовную. На другой день сестра взялась разбирать семейные альбомы, шершавые, будто морские черепахи, и разговор получился как будто невзначай. Снимки лежали вроссыпь на полу, на одних были дамы, на других – военные в форме времен диктатуры и даже один гвардеец в шлеме с белым плюмажем.

– Прости, что уехала тогда не попрощавшись, – сказала она. – Это гордыня все.

– И ты меня прости. Не стоило этих сектантов за мебелью присылать. Они больше побили и поломали, чем тебе привезли.

– Не мне, а в миссию, – важно поправила Агне. – Мне самой ничего не нужно. Бог выгоды оплодотворил опасности, и родились многочисленные маленькие вещи. Так наш мастер говорит, а он великий человек.

Этого только не хватало, подумал я, укладывая тяжелые альбомы на место. Я – сводный брат малахольной проповедницы.

* * *

Лютас не сразу стал мне другом, мы долго присматривались.

Мне не нравились его синие студеные глаза, малый рост и странная смесь высокомерия и дубоватости, которую моя бабка называла *ароганция*. Помню, как однажды зимой он явился к нам во двор, где мы с Рамошкой строили крепость из кусков льда, нарубленных возле водонапорной колонки. Кто же так строит, сказал он, постояв там минут десять, и принялся морочить нам голову цитаделями, рвами и фланговой обороной, да так ловко, что наша крепость стала казаться грудой ледяных обломков и мы, покопавшись еще немного, махнули рукой и разошлись по домам.

Лицо у Лютаса и теперь бывает пустое и многозначительное, вернее, вместо лица у него бывает *ароганция*, но таков уж мой друг, и другого у меня нет. Приходится терпеть. Душана я другом назвать не могу, хотя мы прошли огонь и воду, пока поставили его лавочку на ноги. Я даже на велосипеде научился ездить, потому что машина была вечно в разгоне. Балканец долго прощал мне отлучки, неспособность торговаться и крепкую русскую брань, которая иногда сыпалась из меня, будто просо из мешка. Когда дела в конторе пошли в гору, он меня все-таки уволил, и с мыслью о безмятежной осени пришлось попрощаться.

Продавать было нечего, к тому времени я выел теткин дом, словно свора оголодавших термитов. Оставалась пара канделябров, разрозненная посуда и теткино цитриновое ожерелье, почти прозрачное, едва обозначенное шафранной желтизной, которое я поклялся не предлагать антикварам, даже если придется сварить и съесть свой ремень. Второй вещью, которую я решил не продавать, был золоченый бокал с надписью *Chateau St. Cloud*, обнаруженный в теткиной спальне. Внутри была аптечная склянка с каплей настойки на самом дне, я обмакнул в нее палец и попробовал: медицинский спирт с какой-то горечью. Я списал с этикетки название и нашел статью на фармацевтическом сайте: ядовитый болиголов.

Зачем ей понадобилась эта отравка? Доктор написал в свидетельстве о смерти: остановка сердца, *commotio cordis*. Следующая остановка – остановка сердца. Вот достойная эпитафия, будь у тетки могила, да только могилы у нее нет. Есть только урна с прахом, похожая на кубок гребной регаты.

Я собирался отвезти ее в колумбарий и даже аванс заплатил, но они не принимали *дорогих усопших* вечером в воскресенье, а в понедельник я передумал. Мне показалось, что тетка хотела бы остаться в доме, со мной. К тому же я увидел сон, где мне пришлось упаковывать огромные рыжие чемоданы, у которых не было дна, то есть с виду оно было, только вещи проваливались куда-то, и приходилось снимать с вешалок все больше и больше, чтобы накормить голодные чемоданы, в конце концов в ход пошли теннисные ракетки и шляпные коробки. Вот в такую коробку я и поставил похоронную урну, а коробку отнес на чердак. Туда же я положил найденные в варенье записки: так египтяне клали в гробницу человека с мотыгой, ушебти, чтобы он за умершего вкалывал на полях Озириса.

Когда в Полях Иалу боги позовут тетку на работу, окликнув ее по имени, ушебти, составленный из пепла и горстки бумажек, должен выйти вперед и откликнуться: “Здесь я!”, после чего он пойдет туда, куда повелят, и будет делать что прикажут.

* * *

Сейф глубиной в четверть метра был надежно укрыт в комнате бывшей хозяйки, я бы его не заметил, если бы не обрывок обоев, похожий на завернувшееся собачье ухо. В тот день я с утра не выходил из дому, ждал броканта и своего шефа Душана, тот обещал помочь упаковать и снести вниз огромное зеркало работы Луи Арпо, я продал его по объявлению в сети. Брокант оказался занудой – сначала потребовал фотографии, потом тянул несколько дней и в конце концов сообщил, что приедет в воскресенье.

Первым явился Душан, осмотрел столетний *objeto*, занимавший половину стены, почесал нос и сказал, что снимать зеркало придется вчетвером. Спустившись во двор покурить, он вернулся с двумя молодцеватыми тайцами из винной лавки. Они долго примеривались, потом схватили раму и потянули вверх, чтобы снять воображаемые петли с гвоздей, но зеркало внезапно подалось, скрипнуло и тяжело отъехало в сторону. Тайцы восхищенно зацокали языками. Сначала я увидел стальные рельсы в полу, по которым двигалась рама, а потом – лоскут обоев с разрезанной пополам стрекозой.

Я отозвал Душана и попросил вывести соседей в кухню и налить им по стаканчику. Оставшись в комнате один, я подошел к стене и осторожно потянул за стрекозину голову. От стены отделилась дощечка, державшаяся на двух гвоздях, за ней обнаружился сейф с кодовым замком на дверце. Замок был старомодным и смахивал на арифмометр: нужно было крутить рифленое колесико, пока в окне не выскочит верная буква. Я сел на пол и стал думать, прислушиваясь к доносящимся из кухни голосам.

Если пароль для сейфа подбирал Фабиу, то понятно, что за надпись была на конверте, который тетка так и не распечатала. Какие-то местные боги, говорила она, пожимая плечами. Вот только где теперь этот конверт? Снизу позвонили: приехал нерадивый брокант.

Я повесил дощечку обратно, нажал на рычаг и с трудом подвинул раму на место. Дойдя до кабинета, я достал с полки “Мифы Лузитании”, нашел нужную главу и переписал на листок несколько имен. Потом я спустился к броканту, ожидавшему на кухне, и предложил ему стакан вина. Тайцы радостно зазвенели стаканами. Bandonga или Ataescina? – крутилось у меня в голове. В окошке восемь букв, так что вариантов будет немного. А что, если сейф окажется пустым? Нет, лузитанские боги не могут меня подвести, к тому же, глядя на дверцу, я ощутил знакомое покалывание в пальцах, предвещающее перемены.

– Машина будет ваша? – осведомился брокант, на голове у него была какая-то соломенная ость, пересохшая от перекиси водорода.

– Машина не понадобится, – весело ответил я. – Приношу свои извинения. Вы слишком долго откладывали покупку, зеркало уже продано.

Разочарованный брокант удалился, бормоча себе под нос что-то вроде *vai se foder, русский придурок*. Когда Душан допил свой стакан и отправился домой, а тайцы отбыли в лавку, я поднялся на второй этаж, кое-как отодвинул зеркало и принялся за сейф. Я начал с богини плодородия и не угадал. Остальные боги тоже не подошли. Не подошло ни название перелука, ни зоебрга, ни еще штук десять вариантов, так что я изрядно утомился, спустился в кухню и прикончил остатки вина.

Вернувшись, я некоторое время сидел на подоконнике, вдыхая пыльный запах валерианового корня, потом встал и быстро набрал тумігіам. Я вспомнил, как тетка говорила мне, что девочка, которую приводил к себе Фабиу, была для него искривленным отражением матери, в чьей властной ветвистой тени он прожил до сорока лет, – теперь он хотел властвовать сам, надевая браслеты мертвой Лидии на маленькие веснушчатые руки. Наверное, он выбрал самую несчастную девочку во дворе, одинокую малышку в красном пальто. В ее имени шесть букв, но из них нетрудно сделать восемь.

Дверца распахнулась беззвучно. В глубине сейфа виднелась шкатулка: лиможская эмаль, зеленая с золотом, классический ларчик аббата. У самой дверцы лежала книга, переплетенная в холстинку. Мне страшно хотелось открыть шкатулку, но я медлил, слушая, как предчувствие заполняет меня, будто дождевая вода петли садового шланга, постепенно расправляя каждый изгиб и залом. Что бы там ни оказалось – засушенная бабочка или налоговые квитанции, сейчас у меня будет настоящая возможность поговорить с Фабиу. С человеком, о котором я знал не больше, чем о собаке Руди: я знал, что он жил с теткой какое-то время, а потом повесился.

Я достал книгу, открыл ее там, где лежала закладка из газетной бумаги, сложенная корабликом, и с трудом перевел первый абзац на странице. “Мой сад – это сад возможностей, сад того, что не существует, сад погубленных идей и детей, которые не родились.”

Я развернул газетный кораблик и прочел заметку о пропаже альфамской школьницы. Фотография была любительской, девочка выглядела веселой, на голове у нее был беретик на французский манер. Я поискал дату, но она была аккуратно оторвана по сгибу. Дело ясное, что дело темное, подумал я, положил книгу на пол и протянул руку за шкатулкой, открывшейся с еле слышным покорным щелчком.

Шкатулка была заполнена на треть, но в ней было достаточно, чтобы у меня помутилось в глазах. Изумрудные листья на золотых ветках, вот что я увидел на самом верху, высокий, раскидистый, темно сияющий куст диадемы. Я запустил пальцы в шкатулку и принялся перебирать добычу, чувствуя себя удачливым домушником. Гранаты чернели безупречными зернами, из золотого браслета был вынут змеиный глаз. Зато на дне обнаружился розовый жемчуг, способный заткнуть огнедышащую пасть “Сантандера” по меньшей мере года на два.

Как сейчас помню: первой моей мыслью было позвонить сестре в Агабаджу, но я подумал еще немного и решил повременить. Некоторое время я просто сидел там и смотрел.

В сумерках tesoros тускло отливали венецианской зеленью. Потом я выгреб из шкатулки несколько браслетов, захлопнул сейф, задвинул зеркало и поехал к своему антиквару.

В трамвае, бегущем с альфамского холма, я стоял на задней площадке, придерживал тяжелый пакетик в кармане и улыбался как дурак. Мне казалось, что суровая саа сдалась, развела вечно сжатые ноги и теперь мы с ней заживем по-людски, как жадные друг до друга amantes. Что теперь все будет так, как было во времена вишневых косточек, золотистый столб света снова будет стоять в мансарде, и я смогу зайти в него и согреться, ступеньки перестанут уходить из-под ног, а двери – хлопать, будто равнодушные клакеры. Мне и в голову не могло прийти, что от меня просто пытались откупиться.

* * *

Фассбиндер умер, когда ему было столько, сколько нам теперь, сказал Лютас, когда мы пили вино в столовой, где от мебели остался только трехногий стол – вместо четвертой ноги я подложил полное собрание сочинений Пессоа. В столовой стало непривычно чисто: Байша влюбилась в моего друга и ходила за ним с щеткой для пыли, будто раб с опахалом. Байша – отрада моих очей, рыжая, как апельсиновая роща под Альбуфейрой, любительница расшитых подушек, прокуренная, как каминная труба, португалка до кончиков золоченых ногтей. Бог знает, где теперь эти подушки и где теперь Байша.

В те дни мы говорили и пили непомерно много, на столе стояли разномастные рюмки, из тех, что никто не купил, а по дому были развешаны камеры, похожие на птичьи глаза с мигательной перепонкой. Лютас щебетал над ними, как заядлый канареечник. Невероятный фильм, о котором он не рассказал мне и десятой доли, уже заморозил меня, я весь извелся в ожидании сценария, обещанного мне к понедельнику. Ничего мне так не жаль, как этого непрочитанного сценария, неснятого фильма и к чертям собачьим потерянной дружбы. Черт, я досиделся здесь до того, что впадаю в драматический тон. Это во мне кровь старого Кай-риса заговорила: до того, как стать арестантом, он был актером в любительском кружке.

Сероглазого деда-каторжника я не видел даже на снимках, его посадили лет за двадцать до моего рождения, а свадебные фотографии бабушка порвала и бросила в печь. То ли она боялась последовать за мужем в Сибирь, то ли новый муж так приказал, в те времена он еще имел над ней власть. Что до деда Конопки, то он так и остался сомнительным предметом разговора, полым, будто облачко с многоточием, выдуваемое персонажем комикса. Мать говорила, что его и поляком настоящим не назовешь, вся родня с его стороны староверы, а значит, во мне от краковской шляхты всего четвертинка.

Моя мать пошла в третий класс, когда у нее появился отчим, в третий класс русской школы, что была возле памятника генералу Черняховскому. Ей было ровно десять, когда Йоле взяла ее с собой к следователю, чтобы выпросить у него свидание с мужем, а там оставила сидеть в коридоре, на длинной скамейке, обитой дерматином. Во второй раз девчонке разрешили зайти внутрь и посидеть на диване, следователь улыбался ей всем своим крестьянским лицом: крупным ртом, круглыми глазами, даже носом, на кончике которого сидела не то коричневая мушка, не то царапина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.